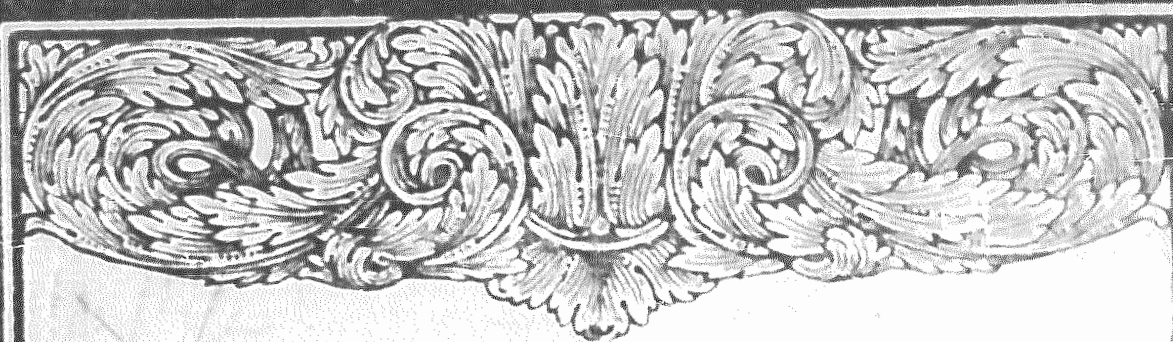


Р 840-87
925-4

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



ГЕРМАНИЯ
ФРИДРИХ ШИЛЛЕР
РАЗБОЙНИКИ

ВЫПУСК
№ 21



ПЕТЕРБУРГ
МСМХІХ

Вып. № 21.

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ФРИДРИХ ШИЛЛЕР

FRIEDRICH SCHILLER

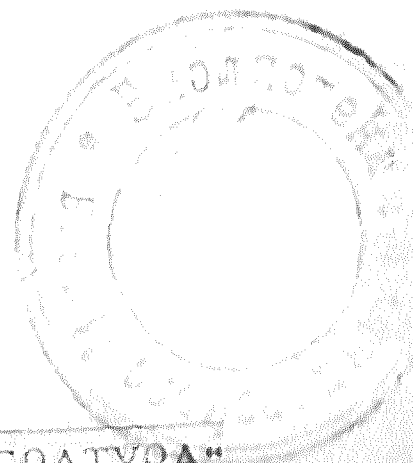
— 1759 — 1805 —

РАЗБОЙНИКИ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ И
С ПРЕДИСЛОВИЕМ
Б. М. ЭЙХЕНБАУМА



П Е Т Е Р Б У Р Г
— 1 9 1 9 —



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
при Народном Комиссариате по Просвещению

ПРЕДИСЛОВИЕ.

„Разбойники“—первое законченное произведение Шиллера, написанное им в ранней молодости. Начало работы над этой трагедией относится к 1777 г., когда Шиллеру было всего 18 лет (родился в 1759 г.); закончена она была в 1780 г. Вся работа над ней проходит в стенах школы, штутгартской военной академии, где Шиллер обучался медицине. Эта школа была основана герцогом Вюртембергским, Карлом, и отличалась большой суровостью. Шиллер писал свою трагедию тайком, скрываясь в лазарете и пряча свою рукопись под учебники медицины. Властный герцог вмешивался в частную жизнь, считая каждого ученика своей собственностью и распоряжаясь его судьбой по своему усмотрению. По окончании школы Шиллер был назначен военным врачом — предстояла трудная, скучная служба под постоянным надзором герцога. Но около Шиллера собирается кружок друзей — им он поверяет свои планы, им читает свои произведения. „Разбойники“ решают его судьбу: первое представление этой трагедии (в Маннгейме, 13 января 1782 г.), на котором, тайком от герцога, присутствовал

и сам Шиллер, сопровождается таким успехом, что об авторе ее сразу распространяется слава. Она служит поводом к серьезному конфликту с герцогом — Шиллеру запрещают писать что-либо, кроме медицинских сочинений.

Такое положение было уже невыносимо Шиллеру — осенью 1782 г. он бежит со своим другом из Штутгарта в Маннгейм, а оттуда, опасаясь мести герцога, уезжает дальше. Связь с родиной порвана — Шиллер начинает новую жизнь.

В такой обстановке написаны Шиллером „Разбойники“. Пылкое воображение, рвущаяся на свободу душа, страстное увлечение литературой — и меланхолически-однообразная жизнь военной школы, деспотизм герцога, вынужденные занятия медициной. Однако, в этой мучительной борьбе закаляется и быстро растет дух юноши — ему с ранних лет приходится отвоевывать себе собственный путь и серьезно относиться к своему таланту. Мало начитанный, мало видевший — он, тем не менее, в 20 лет пишет трагедию, которая оказывает влияние на всю литературу и считается одной из классических пьес немецкого театра.

Юноша — Шиллер сразу становится в ряды поэтов так называемой „эпохи бури и натиска“. Под таким именем разумеются 70-ые года XVIII века, когда вся область культурной и политической жизни Германии начинает пере-

страиваться. На первый план выдвигаются вопросы личной и социальной свободы. Молодое поколение вступает в горячую борьбу с омертвевшими формами жизни. На место „здорового рассудка“ становится чувство. Так — в жизни вообще, так — и в искусстве.

В эту эпоху немецкий театр начинает освобождаться от французского влияния. Главным учителем об'является Шекспир, трагедии которого (Гамлет, Король Лир, Отелло и др.) усердно переводятся и изучаются. На место французских трагиков становится „чувствительный“ Руссо. Строгость и стройность французской трагедии сменяется свободой — вместо обычного во французском театре стиха (Корнель, Расин, Вольтер) является вольная проза. Условности „вкуса“ отбрасываются — бушуют неудержимые страсти, изображаются ужасы, язык делается преувеличенно-грубым, напряженным, выбираются страшные, богатые драматическими эффектами сюжеты. Вместо излюбленных французским театром древне-греческих сказаний, драматической обработке подвергаются исторические события или сама современность. Местом действия выбирается часто Италия, национальный дух которой дает благодарный материал для изображения пылких страстей: так — в „Уголино“ Герстенберга (1763 г.), „Юлии Тарентском“ Лейзевица (1775 г.), „Близнецах“ Клингера (1776 г.). Возрождаются

национальные предания о германских рыцарях, как в юношеской трагедии Гёте „Гёц фон Берлихинген“ (1774 г.). Торжественная, „высокая“ французская трагедия низвергнута—ее место заступает бурная драма, захватывающая воображение богатством и разнообразием положений и приключений, неожиданностью развязки, напряженностью чувства и т. д.

Излюбленной трагической темой становится тема братоубийства. Семейная вражда, приводящая к трагической гибели, служит сюжетом многих трагедий этого периода — так, в упомянутых уже пьесах Лейзевица и Клингера, писателей эпохи „бури и натиска“ *). Сюда часто вылетает тема личной свободы — борьбы против условностей общества и насилия законов. „Что древнее — законы природы или законы Августина?“ восклицает Юлий в пьесе Лейзевица. „Мир—мое отечество, и все люди—один народ... И разве все человечество, чтобы быть счастливым, должно быть заперто в государстве, где каждый—раб другого...“ и т. д.

Такова была литературная эпоха, восприимчивой которой был молодой Шиллер. Ко времени его выступления она еще не завершилась и даже не успела развиться — естественно, что он примыкает к ее стремлениям и

*) Клингер потом переселился в Россию, был директором Пажеского корпуса и умер в Петербурге.

увлекается теми же сюжетами, той же формой. Его учителя—те же: Шекспир, Руссо. Он увлекается пьесой Лейзевица и произведениями молодого Гёте. Так подготовляются „Разбойники“. Однако, первый боевой период „бури и натиска“ уже прошел,—наступает период упорядочения новой драмы. Ужасы и страсти сами по себе, как в ранних трагедиях Клингера, когда борьба со старым театром была ожесточенной и требовала резких, поражающих приемов, отступают на второй план и является стремление к их более глубокой мотивировке, к усложнению сюжета.

В этом отношении „Разбойники“ очень хороший пример. Все элементы семейной вражды налицо: Франц ненавидит Карла и губит старика-отца; но вражда эта осложнена, во-первых, природным уродством и коварством Франца, во-вторых—отсутствием Карла. Франц не просто ненавидит Карла—он разрабатывает определенный план, он развивает в своих монологах целую философию, он атеист и деспот. Братья в пьесах Лейзевица и Клингера не противопоставляются, как контрасты, а только разнствуют, при чем братоубийца (Гвидо у Лейзевица, Гвельфо у Клингера) не изображается злодеем: наоборот, именно его устами часто произносятся заветные изречения автора, именно он—основное, героическое лицо пьесы. Поэтому второй брат,

падающий жертвой, остается в тени (особенно в „Близнецах“ Клингера). У Шиллера тема вражды углублена до контраста, на котором строится самая трагедия. Обоим предоставлено достаточно места, оба наделены достаточной для драматического воздействия силой, только у одного она направлена на зло, у другого — на добро; один ужасен, другой величав; один возбуждает в зрителе игру чувств страха и отвращения, другой — восторга и сострадания. Франца Шиллер наделает большой умственной силой, благодаря этому он, как художественный образ, выдерживает сопоставление с пылким Карлом и, как действующее лицо драмы, достаточно жизнеспособен, чтобы удержать на себе внимание зрителя. Из предисловия автора видно, что Шиллер сделал это сознательно, учитывая разницу между воздействием на нас живого человека и человека на сцене: „безнравственные характеры... должны иметь свою блестящую сторону, даже выигрывать со стороны ума то, что они теряют со стороны сердца... Медея древних драматургов, при всех ее преступлениях, остается великой, достойной удивления женщиной, а Ричард Шекспира постольку же вызывает в читателе удивление, поскольку он возбудил бы ненависть, если бы тот встретился с ним в жизни.“

Осложнена и углублена и тема свободы: борьба за свободу личных чувств превращается в борьбу за освобождение человека, трагедия семейная осложняется трагедией социальной. Отсюда — самое „разбойничанье“ Карла, несколько сходное с ролью Гёца в трагедии Гёте. Письмо Франца отрезает ему путь на родину — отщепенец дома, он становится и отщепенцем общества, строй которого он ненавидит. Тут — связь с благородными разбойниками в „Дон-Кихоте“ Сервантеса (одна из любимых книг Шиллера — см. в его предисловии) и с знаменитым героем шотландских баллад, разбойником и освободителем угнетенных Робинем Гудом *) имя которого упоминается в пьесе. Тут — причина особенного успеха „Разбойников“ на французском театре в эпоху революции. Пьеса эта вообще, стала как бы международной — всюду она оказывала влияние теми или другими своими чертами. В России первый перевод ее был сделан еще в конце XVIII века, а особенно увлекались ею в 20-ых годах XIX века, когда она была вновь переведена. Следы ее влияния (и влияния вообще немецкой драмы „эпохи бури и натиска“) можно видеть в пьесах Лермонтова (напр., „Два друга“); характерно, что Достоевский увлекался Шиллером и в моло-

*) См. „Баллады о Робине Гуде“, издание „Всемирной Литературы“

дости любил особенно „Разбойников“, следы чего можно наблюдать в романе „Преступление и наказание“. С другой стороны эта трагедия Шиллера богата приключениями и эффектными анекдотами (о собаке, о монастыре) — тоже причина популярности, благодаря которой вслед за выходом пьесы в свет явились многочисленные обработки и подражания.

В соответствии с силой ума, которой наделен Франц и которая делает его интересной в драматическом отношении фигурой, Карл, достаточно сильный самым своим положением в пьесе, наделен „чувствительным“ сердцем: он нежен, чуток, он любит природу, он мечтателен и страстен. Философия Франца — холодная отвлеченность, часто построенная на логической игре понятиями; размышления Карла всегда проникнуты глубоким настроением, идут всегда от души и в этом отношении похожи на раздумья Гамлета. Он преступен и жесток, но к этому его привело, как говорит в предисловии сам Шиллер, „несчастное стечение обстоятельств“. Тем самым почти вся вина снимается с него и целиком возлагается на душу Франца — выродка, в лице которого „порок раскрывается со всем его внутренним механизмом“. Бледной в сценическом отношении осталась Амалия, как бледны были женские фигуры и у Лейзевица, и у Клингера. Она, как и старик Моор, остаются фигурами вспомогательными. Здесь, в изобра-

жении Амалии, юноша-Шиллер идет по следам Клопштока, рисуя воплощенную добродетель. Позже он сам отзывается с иронией о „прекраснодушном“ Клопштоке, — здесь он еще его послушный ученик.

В отношении драматической техники Шиллер уже в этой юношеской трагедии далеко опередил своих предшественников. Клингер не разнообразит действия, не употребляет никаких особых приемов движения, развития, не играет вниманием и любопытством зрителя — его пьесы не нарастают, а с самого начала и до конца идут в быстром темпе, в непрерывном и неослабном напряжении. Гёте в ранней своей трагедии мало озабочен собственно-драматической стороной, поэтому „Гёц фон Берлихинген“ имеет вид скорее драматического повествования, чем пьесы. Шиллер употребляет ряд условных приемов, осложняющих и тем самым тормозящих движение трагедии. Особенно развит им прием не узнавания, которым Шекспир пользуется в „Короле Лире“: Франц не узнает Карла, не узнает его и Амалия (это осложнено еще тем, что она влюбляется в него и, считая его другим лицом, страдает и упрекает себя в неверности), не узнает и Даниэль; наконец, Карл не узнает отца. Условна и завязка, тоже несколько сходная с „Королем Лиром“: все несчастье происходит оттого, что старик доверяет Францу и не заглядывает сам в

письмо, будто бы написанное Лейпцигским корреспондентом. Эта случайность, как и в „Короле Лире“, накладывает печать некоторой вины (доверчивость и легкомыслие) и на старика-отца; тем самым завязка упрощается, а образ старика выигрывает в драматическом отношении.

Развязка трагедии Шиллера тоже отличает его от Лейзевица и Клингера. В „Юлии Тарентском“ и в „Близнецах“ развязка одинакова—один брат, в припадке ненависти, убивает другого, а отец, принимая на себя роль судь и мстителя, убивает самого убийцу. В „Разбойниках“, во-первых, нет братоубийства—Франц только замышляет его, но осуществить ему не удастся; во-вторых, окончательная развязка совершается не мгновенно, как в пьесах Лейзевица и особенно Клингера, а медленно, она осложнена появлением Амалии и колебаниями Карла (так искусно использована к концу клятва Карла быть до смерти атаманом). Тем самым развязка эта приобретает характер разрешения тех нравственных вопросов, которыми мучается Карл. Неожиданность, действовавшая как драматический эффект в пьесах Лейзевица и Клингера (особенно причудливо в „Юлии Тарентском“, где отец одной рукой обнимает сына, а другой его закалывает), использована и здесь—Карл убивает Амалию, но неожиданность эта, во-первых, подготовлена на-

стойчивостью разбойников, а во-вторых—она сама по себе еще не разрушает главного узла; все дело в последнем решении Карла отдаться в руки правосудия. Впоследствии Шиллер не раз принимался за продолжение „Разбойников“ и написал через много лет другую трагедию на тот же сюжет, „Мессинскую невесту“, но в „Разбойниках“ он ищет такой развязки, которая удовлетворила бы нравственное чувство зрителя и окончательно бы примирила его с Карлом. Здесь в Шиллере тоже говорит ученик Клопштока, воспитанный на строгих нравственных правилах—среди благочестивой семьи, постоянным и главным чтением которой было Священное Писание. Недаром он заставляет Франца молиться, недаром, в противовес католическому патеру, выводит благородного монаха Мозера, запечатлев в нем образ своего давнишнего учителя; недаром, наконец, в своем предисловии так старается оградить себя от упреков в безнравственности и с таким возмущением говорит о врагах религии: „Кто поставил себе целью громить порок и мстить врагам религии, тот должен разоблачать порок во всем открытом его безобразии и выставить его перед глазами человечества во всем его колоссальном объеме... Теперь также в большой моде изощрять свое остроумие насчет религии, так что почти нельзя больше считаться гением, если не изощряешься в кощунственных насмешках над свя-

щеннейшими ее истинами... Могу надеяться, что я достойно отмстил за религию и истинную нравственность тем, что в лице самых гнусных своих разбойников предал этих легкомысленных хулителей Священного Писания всеобщему презрению". И наконец, обращение к толпе: „Она, я боюсь, погубит мой замысел, может быть, увидит тут апологию порока, который я ниспровергаю... Я имею право ожидать, что мое произведение, благодаря его замечательной развязке, будет причислено к нравственным книгам: порок получает достойное наказание; заблудший возвращается на путь закона; добродетель одерживает победу“.

Конечно, здесь Шиллер говорит по обязанности, и даже со скрытой иронией, имея в виду именно „толпу“, а может быть и герцога. Но, независимо от этого, Шиллер и сам влагает в пьесу некоторый нравственный смысл, которому подчиняет как развязку, так и отдельные моменты внутри пьесы.

Язык трагедий очень разнообразен: с одной стороны, философские размышления Карла и Франца, с другой—грубости и каламбуры разбойников; с одной стороны—„Прощание Гектора с Андромахой“ и песня Амалии, сопровождаемая игрой на лютне, с другой—разгульная песня разбойников. Трагическое смешано с комическим,—тут Шиллер действует в соответствии с Шекспиром. Сам Карл то де-

кламирует, то шутит и острит. Особенно характерна для Шиллера этой эпохи преувеличенная картинность, сложность и выисканность речи. Библейские речения соединяются с медицинскими рассуждениями. Все вместе получает вид причудливой витиеватости.

В историко-литературном отношении „Разбойники“ закрепляют те завоевания в области новой драмы, которые были сделаны предшественниками Шиллера: омертвевшая к этому времени форма французской трагедии побеждается „младшим“ искусством—трагедией, построенной на силе чувства и разнообразии положений. Недаром основой для „Разбойников“ служили Шекспир и Сервантес, т. е. искусство, еще не потерявшее связи с народом. Недаром и толчком к этой трагедии послужил рассказ поэта Шубарта, имеющий характер маленькой новеллы или авантюрного анекдота из жизни одной семьи. Новая „простота“ явилась на смену устаревшей „искусственности“. Таков постоянный закон в развитии искусства.

Б. Эйхенбаум.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА.

Это произведение нужно рассматривать только как драматический рассказ, для которого мы пользуемся преимуществами драматического метода, чтобы захватить, так сказать, душу в самых сокровенных ее движениях, не ограничиваясь, однако, при этом, пределами театральной пьесы и не гоняясь за столь сомнительными выгодами театрального воплощения. Разумеется, было бы бессмысленно требовать от меня, чтобы в течение трех часов были исчерпаны три необыкновенные личности, деятельность которых находится в зависимости от тысячи причин, так же, как при естественном порядке вещей было бы невозможно, чтобы три необыкновенных человека совершенно раскрылись, хотя бы и для самого проницательного психолога, в течение двадцати четырех часов. Здесь было налицо множество тесно переплетающихся между собой действительных фактов, которых я никоим образом не мог втиснуть в узкие рамки Аристотеля и Баттё *).

*) Аристотель—греческий философ IV в. до Рожд. Хр. В сочинении „Поэтика“ установил для драмы закон так называемых „единств“—времени и действия, который долго считался обязательным для драматических произведений.

Баттё, Шарль—французский ученый XVIII в., известный своими трудами по теории литературы, последователь Аристотеля.

Но не столько объем моей пьесы, сколько ее содержание препятствует ее появлению на сцене. План ее требовал, чтобы были выведены некоторые характеры, которые оскорбляют более тонкое чувство добродетели и возмущают мягкость наших нравов. Этой необходимости подчиняется всякий писатель, если он хочет дать изображение действительного мира, а не идеальные чувства, не схематические очертания людей. Так уж установилось в жизни, что добрые оттеняются злыми, и добродетель получает живой колорит от сопоставления с пороком. Кто поставил себе целью громить порок и мстить врагам религии, нравственности и гражданских законов, тот должен разоблачать порок во всем откровенном его безобразии и выставлять его перед глазами человечества во всем его колоссальном объеме—он сам должен на мгновение погрузиться в его темные лабиринты,—он должен суметь заставить себя пережить те ощущения, против чудовищности которых возмущается его душа.

Порок здесь раскрывается со всем его внутренним механизмом. Во Франце он превращает все смутные упреки совести в бессильные абстрактные *) рассуждения, разлагает чувство справедливости и издевается над строгим голосом религии. Кто зашел так далеко (слава, в которой мы ему не завидуем), что изощрил свой ум за счет своего сердца, для того самое священное не свято больше: человечество, божество для него—ничто, оба мира—ничто в его глазах. Я пытался набросать верный живой образ подобного выродка, рассмотреть весь меха-

*) Абстрактный — отвлеченный, философский.

низм его системы порока и испытать его силу по сопоставлению с истиной. Насколько это удалось, можно судить по ходу этого рассказа. Я думаю, что был верен природе.

Рядом с ним стрит другой, который, может быть, многих из моих читателей приведет в смущение. Это характер, увлекающийся величайшими пороками только ради той грандиозности, которая им присуща, ради силы, которой они требуют, ради опасностей, с которыми они сопряжены. Замечательная, крупная личность, наделенная всеми силами, которые, смотря по полученному ими направлению, неизбежно должны сделать его или Брутом или Катилиной *). Несчастное стечение обстоятельств приводит его ко второму и только в конце, после огромных заблуждений, становится он первым. Ложные понятия о деятельности и влиянии, избыток сил, опрокидывающий все законы, естественно, должны были разбиться об общественные условия, и к восторженным мечтам о величии и деятельности должно было присоединиться озлобление против неотвечающего идеалу мира. Так создавался причудливый Дон-Кихот **), которого мы ненавидим и любим в разбойнике Мооре, которому удивляемся и которого сожалеем.

*) Брут, Марк-Юний—римский борец за свободу (1 в. до Рожд. Хр.), бывший сначала другом Цезаря, но ставший потом главным участником заговора против него, как представителя власти. Считается образцом республиканской доблести и в этом смысле противопоставляется Катилине, главе заговора демократов против консулов, которому приписывают низкие цели, и потому имя его употребляется в значении—изменник, коварный человек.

**) Дон-Кихот Ламанчский—роман испанского писателя Сервантеса (XVII в.), герой которого изображен безумным, но благородным и великодушным рыцарем.

Мне, вероятно, нет надобности объяснять, что эта картина относится не к одним только разбойникам, так же, как сатира испанца бичует не одних только рыцарей.

Теперь также в большой моде изощрять свое остроумие насчет религии, так что почти нельзя больше считаться гением, если не изощряешься в кощунственных насмешках над священнейшими ее истинами. Благородная простота Священного Писания в ежедневных собраниях служит предметом нападок и насмешек со стороны так называемых остряков, потому что нет ничего священного и серьезного, чего нельзя было бы извратить и осмеять. Могу надеяться, что я достойно отмстил за религию и истинную нравственность тем, что в лице самых гнусных своих разбойников предал этих легкомысленных хулителей Священного Писания всеобщему презрению.

Но более того. Эти безнравственные характеры, о которых упоминалось раньше, должны были иметь свою блестящую сторону, даже выигрывать со стороны ума то, что они теряют со стороны сердца. В этом случае я, так сказать, буквально списывал с природы. На каждом, даже самом порочном, лежит до известной степени печать божественного подобия, и, может быть, великому злодею не так далеко до великого праведника, как малому: потому что нравственность соответствует силам, и чем больше способности, тем больше, тем необъятнее их заблуждения, тем вменяемее их преступность. Адрамелех Клопштока*) пробуждает в нас чувство удивления,

*) Клопшток — немецкий поэт XVIII в., автор большой религиозной поэмы „Мессиада“, в числе действующих лиц которой есть дьявол Адрамелех.

смешанного с отвращением. За Сатаной Мильтона *) мы идем по непроходимому хаосу с содроганием и изумлением. Медея**) древних драматургов, при всех ее преступлениях, остается великой, достойной удивления женщиной, а Ричард Шекспира***) постольку же вызывает в читателе удивление, поскольку он возбудил бы ненависть, если бы тот встретился с ним в жизни. Поэтому, если я поставил своей целью изобразить целого человека, я должен взять и положительные его стороны, которые никогда не отсутствуют в полной мере даже у самого злого. Если я хочу предостеречь от тигра, я не могу умолчать об его прекрасной, лоснящейся, пятнистой шкуре, иначе при встрече с тигром его могут не узнать. Притом человек, представляющий собой воплощенное зло, не может быть предметом искусства, он действует отталкивающим образом, вместо того, чтобы приковывать внимание читателя. Те страницы, где он говорит, остались бы непрочитанными. Благородная душа так же мало выносит длительные нравственные диссонансы****), как ухо скрип ножа по стеклу.

Но именно поэтому я и сам не советовал бы рисковать постановкой моей пьесы на сцене. Для этого, как для писателя, так и для его чи-

*) Милтон — английский поэт XVII в., автор большой религиозной поэмы „Потерянный рай“, одно из главных действующих лиц которой — Сатана.

**) Медея — героиня многих древних трагедий, разрабатывающих миф о ней, как о матери, убившей своих детей и тем отомстившей за измену мужу своему — Язону.

***) Шекспир — английский драматург XVI в., автор „Гамлета“, „Отелло“, „Короля Лира“, „Ричарда III“ и друг. трагедий. Оказал большое влияние на немецкий театр XVIII в. (см. вступит. очерк).

****) Диссонанс — разногласие, отсутствие гармонии.

тателя, нужна уже известная наличность умственных сил: для первого—чтобы он не скрашивал порок, для второго—чтобы он не допустил подкупить себя блестящей стороной и не увлекся бы безобразной сущностью. Выполнял ли я это условие—предоставляю решить третьему; но в своих читателях я не совсем уверен. Толпа, под которой я отнюдь не подразумеваю одну только чернь, толпа (между нами сказать) пустила корни везде и, к несчастью, задает тон. Слишком близорукая, чтобы охватить мое произведение в целом, слишком скудоумная, чтобы понять то, что в нем есть великого, слишком злобная, чтобы постараться найти в нем хорошее, она, я боюсь, погубит мой замысел, может быть, увидит тут апологию порока, который я ниспровергаю, и за собственную глупость заставит расплачиваться автора, который обыкновенно может рассчитывать на все, кроме справедливости.

Это—вечное да саро*) с Абдерой и Демокритом, и нашим добрым Гиппократам **) пришлось бы истребить целые плантации чемерицы, если бы они вздумали помогать злу целебными декоктами. Сколько бы ни собралось друзей истины, чтобы поучать своих сограждан с кафедры и со сцены, толпа никогда не перестанет быть толпой, если даже солнце и луна изменятся, и небо и земля обветшают, как платье.

*) Да саро—снять сначала.

**) Абдера—древне-греческий город, жители которого считались особенно глупыми и не могли понять философа Демокрита (IV в. до Рожд. Хр.), происходившего из Абдеры.

Гиппократ—древне-греческий врач (IV в. до Рожд. Хр.), основатель научной медицины. В нарицательном смысле—вообще врач.

Может быть, мне следовало бы, ради людей недалеких, быть менее верным природе; но, если тот жук, которого мы все знаем, и в жемчуге ищет только навоз, если бывают примеры, что горят в огне и тонут в воде, неужели поэтому нужно конфисковать и жемчуг, и огонь, и воду?

Я имею право ожидать, что мое произведение, благодаря его замечательной развязке, будет причислено к нравственным книгам: порок получает достойное наказание; заблудший возвращается на путь закона; добродетель одерживает победу. Кто будет настолько справедлив, что прочтает мое произведение до конца и захочет меня понять, от того я могу ожидать, чтобы он не восхищался писателем, но оценил во мне честного человека.

Писано в пасхальную ярмарку 1781 г.

РАЗБОЙНИКИ.

Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat, quae ferrum non sanat, ignis sanat. Hippocrates¹.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Максимилиан фон-Моор — владетельный граф.

Карл } его сыновья.
Франц }

Амалия фон-Эдельрейх.

Герман — незаконный сын одного дворянина.

Шпигельберг

Швейцер

Гримм

Рацман

Шуфтерле

Роллер

Косинский

Шварц

Даниэль — слуга графа фон-Моор.

Пастор Мозер.

Патер.

Шайка разбойников.

Другие лица.

} развратная молодежь,
} позднее бандиты.

Место действия — Германия, продолжительность времени — около двух лет.

ПЕРВЫЙ АКТ.

Сцена I.

Франкония.

Зал в замке Моор.

Франц. Старик Моор.

Франц. Но здоровы ли вы, батюшка? Вы так бледны.

Старик Моор. Совершенно здоров, сын мой,—что ты хотел мне сказать?

Франц. Почта пришла—письмо от нашего корреспондента в Лейпциге.

Ст. Моор (стремительно). Известия о моем сыне Карле?

Франц. Гм! гм! — Да, но я боюсь... я не знаю... должен ли я... Ваше здоровье... вы действительно вполне хорошо себя чувствуете, батюшка?

Ст. Моор. Как рыба в воде! Он пишет о моем сыне? Почему ты так беспокоишься о моем здоровье? Ты спрашивал меня два раза.

Франц. Если вы нездоровы — если у вас есть хоть малейшее предчувствие, что вы можете заболеть, то позвольте мне—я поговорю с вами в более удобное время. (Вполголоса). Такие вести не для дряхлого тела.

Ст. Моор. Боже! Боже! Что я услышу?

Франц. Позвольте мне сначала отойти в сторону и пролить слезу сострадания о моем по-

гибшем брате... я должен был бы хранить вечное молчание, потому что он ваш сын. Я должен был бы вечно скрывать его позор, потому что он мой брат. Но повиноваться вам—моя первая, печальная обязанность, поэтому простите меня.

Ст. Моор. О, Карл! Карл! если бы ты знал, каким пыткам твое поведение подвергает сердце отца! если бы ты знал, что одно единственное радостное известие о тебе прибавило бы мне десять лет жизни—возвратило бы мне юность—тогда как теперь каждая весть, увы! приближает меня на шаг к могиле!

Франц. Если это так, прощайте!—Нам всем пришлось бы сегодня же рвать волосы над вашим гробом.

Ст. Моор. Остайся! Еще один маленький, короткий шаг—оставь его, пусть поступает, как хочет! (Садится). Грехи отцов взыщутся в третьем и четвертом колене²—пусть довершает.

Франц (вынимает письмо из кармана). Вы знаете нашего корреспондента! Смотрите! Я отдал бы палец на правой руке, еслиб мог сказать, что он лгун, презренный, ядовитый лгун. Соберитесь с силами! Простите, что я не даю вам письма—вы не должны всего слышать.

Ст. Моор. Все, все, сын мой, ты избавишь меня от костылей³.

Франц (читает). «Лейпциг, 1-го мая. Если бы меня не связывало ненарушимое обещание не скрывать от тебя ничего, что мне удастся узнать о судьбе твоего брата, дорогой друг, никогда мое невинное перо не сделалось бы тиранином по отношению к тебе. Из множества твоих писем я могу заключить, как известия подобного рода поражают твое братское сердце; мне кажется, что я уже вижу, как ты проливаешь сле-

зы о недостойном, ужасном»... (Старик Моор закрывает лицо)... Видите, батюшка, я читаю вам только самое умеренное,—«вижу, как ты проливаешь слезы об ужасном»,—ах, они текли, ручьями струились они по этим полным сострадания чертам,—«мне кажется, что я уже вижу, как твой старый благочестивый отец, бледный, как смерть», — Матерь Божия! вы уже побледнели, ничего еще не зная?

Ст. Моор. Дальше! Дальше!

Франц. «Бледный, как смерть, падает на стул и проклиная тот день, когда младенческие уста в первый раз пролепетали слово отца. Мне не могли открыть всего, и из того немногого, что я знаю, ты узнаешь только немного. Твой брат, кажется, исполнил меру своего позора; я, по крайней мере, не знаю ничего такого, что превосходило бы все, им содеянное, если только его гений в этом случае не стоит выше моего. Сегодня в полночь, наделав долгов на сорок тысяч дукатов»,—недурная сумма для карманных денег, батюшка!—«и обесчестив предварительно дочь богатого здешнего банкира, а жениха ее, достойного юношу знатного происхождения, смертельно ранив на дуэли, он решился бежать, и вместе с семьей другими, которых он вовлек в порочную жизнь, ускользнул из рук правосудия».—Батюшка! Ради Бога! Батюшка, что с вами!

Ст. Моор. Довольно. Перестань, сын мой.

Франц. Я шажу вас, — «его разыскивают, оскорбленные громко вопиют об удовлетворении, его голова оценена... имя Моор...»—Нет! мои несчастные уста не должны убивать отца! (Разрывает письмо). Не верьте этому, батюшка! Не верьте ни одному слову!

Ст. Моор (горько плачет). Мое имя! Мое честное имя!

Франц (бросается ему на шею). Низкий, трижды низкий Карл! Разве я не предчувствовал этого, когда он, еще мальчиком, бегал за де-вушками, гонялся с уличными мальчишками и всяким жалким сбродом по лугам и горам, бежал от церкви, как преступник от тюрьмы, и швырял выпрошенные у вас пфенниги в шляпу первого попавшегося нищего, между тем как мы предавались дома благочестивым молитвам и назидательному чтению святых проповедей? Разве я не предчувствовал этого, когда он охотнее читал приключения Юлия Цезаря, Александра Великого и других коснеющих во мраке язычников, чем историю сокрушенного раскаянием Товита *)? Сто раз предсказывал я вам (потому что любовь моя к нему была всегда в границах сыновних обязанностей), что этот юноша повергнет нас в позор и горе! О, если бы он не носил имени Моор! О, если бы мое сердце не билось такой любовью к нему! Эта преступная любовь, которую я не могу истребить, будет еще когда-нибудь свидетельствовать против меня пред судом Божиим.

Ст. Моор. О, мои надежды! Мои золотые мечты!

Франц. Это я прекрасно знаю. Это и есть

*) Юлий Цезарь—римский полководец и государствен-
ный деятель I в. до Р. Хр. Завоеватель Галлии и ее правитель.
Жизнь его богата военными приключениями и подвигами.

Александр Великий—сын Македонского царя Филиппа
(IV в. до Р. Хр.), завоеватель Персии, Египта, Вавилона,
основатель громадной восточной монархии.

Товит—герой библейской легенды: благочестивый
еврей, оставшийся твердым в своей вере, несмотря на дол-
гое пребывание в плену у арабов.

менно то, что я сейчас говорил. Этот пылкий
дух, который горит в мальчике, говорили вы
всегда, дух, который делает его таким воспри-
имчивым ко всякому проявлению величия и кра-
оты, эта прямота, отражающая в глазах всю его
душ, эта нежность чувства, которая выливается
лезями сочувствия при виде страдания, эта му-
жественная храбрость, которая побуждает его
взбираться на вершины столетних дубов и увле-
кает его через рвы, заборы и стремительные ре-
ки, это ребяческое честолюбие, это непобедимое
прямото, и все эти прекрасные блестящие до-
рождатели, задатки которых таились в балован-
ном сынке, сделают его со временем горячим
ругом, превосходным гражданином, героем,
великим, великим человеком. Теперь вы
идите, батюшка! Пылкий дух развился, разрос-
ся, он принес превосходные плоды. Посмотрите
на эту прямоту, как мило превратилась она в
наглость! Посмотрите на эту мягкость, как неж-
но она воркует с кокетками, как она чувстви-
тельна к прелести какой-нибудь Фрины! *) По-
смотрите, как этот пламенный гений, в каких-
нибудь шесть лет, дочиста растратил свои жиз-
ненные соки, так что он заживо погибает, и люди
бесстыдно говорят: *c'est l'amour qui a fait ça!* 4
О! посмотрите же на эту смелую предприимчи-
вую голову, как она изобретает и приводит в
исполнение планы, перед которыми исчезают
подвиги Картуша и Говарда **)! И когда эти

*) Фрина—имя знаменитой древне-греческой красавицы,
ставшей нарицательным.

**) Картуш—французский разбойник XVIII в., про ко-
торого сложилось много легенд.

Говард—английский разбойник.

превосходные зачатки достигнут полного расцвета—ведь нельзя же ожидать совершенства в таком нежном возрасте?.. Может быть, батюшка, вы доживете еще до радости увидеть его во главе войска, которое живет в священной тишине лесов и облегчает усталого путника от половины его ноши, может быть, прежде чем сойти в могилу, вам удастся еще пойти на поклонение его памятнику, который он воздвигнет себе между небом и землей, может быть... о, батюшка, батюшка! — Поищите себе другое имя, иначе на вас будут показывать пальцами разносчики и уличные мальчишки, которые видели портрет вашего сына на торговой площади Лейпцига *.

Ст. Моор. И ты также, мой Франц, и ты? О, дети мои! как они ранят мое сердце!

Франц. Вы видите, я также могу быть остроумным, но мое остроумие— жало скорпиона. И притом сухой, обыкновенный человек, холодный, деревянный Франц—и какие еще там эпитеты *) мог внушить вам контраст между им и мной, когда он сидел у вас на коленях или ласкал ваши щеки—это Франц умрет и сгниет когда-нибудь в границах своего поместья, и будет забыт, между тем, как слава этой всеобъемлющей головы промчится от полюса до полюса. Ха! с благоговейно сложенными руками благодарит тебя, о, небо! холодный, сухой, деревянный Франц, что он не таков, как тот!

Ст. Моор. Прости меня, дитя мое! Не сердись на отца, обманувшегося в своих планах. Господь, который посылает мне слезы через Карла, отрет их с глаз моих тобою, мой Франц.

* Лейпциг—город, который обременяется моральным грузом.

Франц. Да, батюшка, он отрет их с ваших глаз. Ваш Франц употребит свою жизнь на то, чтобы продолжить вашу. Ваша жизнь есть оракул, с которым я прежде всего советуюсь во всем, что хочу сделать; зеркало, через которое я все рассматриваю; для меня нет ни одной обязанности, настолько священной, чтобы я не был готов ее нарушить, когда дело касается вашей драгоценной жизни... Вы верите мне?

Ст. Моор. На тебе лежат еще большие обязанности, сын мой... Благослови тебя Бог за то, чем ты для меня был и будешь!

Франц. Скажите же мне теперь—если бы вы не должны были этого сына называть своим, вы были бы счастливым человеком!

Ст. Моор. Молчи! о, молчи! Когда бабка мне его принесла, я поднял его к небу и воскликнул: «Не счастливый ли я человек?»

Франц. Вы сказали это. Но так ли это теперь? Вы зайдете последнему из своих мужиков, что он не отец этого... Вы несчастны, пока у вас есть этот сын. Это горе будет расти вместе с Карлом. Это горе погубит вашу жизнь.

Ст. Моор. О! оно сделало меня восьмидесятилетним стариком.

Франц. Ну... а если бы вы отказались от этого сына?

Ст. Моор (всхлипывая). Франц! Франц! что ты говоришь?

Франц. Разве не любовь к нему причиняет вам все это горе? Без этой любви он для вас не существует. Без этой преступной, достойной осуждения любви он для вас умер—никогда не рождался. Не плоть и кровь, сердце делает нас отцами и сыновьями. Если вы его больше не

любите, то этот выродок уже не сын вам более, хотя бы он и был вашей плотью. Он был до сих пор зеницею вашего ока; теперь же,—если око твое соблазняет тебя,—говорит писание,—то вырви его; лучше с одним глазом войти в царствие Божие, чем с двумя глазами быть ввержену в геенну. Лучше лишенным детей идти на небо, чем обоим, и отцу и сыну, идти в ад. Так говорит Господь!

Ст. Моор. Ты хочешь, чтобы я проклял своего сына?

Франц. Нет! нет! своего сына вы не должны проклинать! Кого вы называете своим сыном? Того, кому вы дали жизнь, если даже он из всех сил старается сократить вашу?

Ст. Моор. О, это слишком справедливо! Это кара Божия надо мною! Господь повелел ему быть этой карой!

Франц. Видите, как по-детски поступает с вами ваше любимое дитя. Он душит вас вашим отцовским участием, убивает вас вашей любовью, самое ваше отцовское сердце он подкупил, чтобы отправить вас на тот свет. Когда вас больше не будет, он—господин ваших имений, владыка своих побуждений. Плотина уничтожена, и поток его страстей может бушевать на свободе. Представьте себя на его месте: сколько раз должен он был желать смерти отца, смерти брата, которые так немилосердно стоят ему поперек дороги на пути его излишеств. Но разве это любовь за любовь? Разве это детская благодарность за отцовскую доброту, если он одному мгновению сластолюбивого желания жертвует десятью годами вашей жизни, если он в минуту сладострастия ставит на карту честь отцов, которая оставалась незапятнанной в течение семи

столетий? Это вы называете вашим сыном? Отвечайте! Вы называете это—сыном?

Ст. Моор. Бесчувственное дитя! Ах! но всетаки мое дитя! всетаки, мое дитя!

Франц. Очаровательное, драгоценное дитя, вечное старание которого—избавиться от отца. О, если бы вы могли это понять! Если бы повязка упала с ваших глаз! Но ваша снисходительность должна утвердить его в распутстве, а ваша помощь узаконить его. Конечно, вы снимете проклятие с его головы; на вас, батюшка, на вас падет проклятие осуждения.

Ст. Моор. Справедливо! совершенно справедливо! все это моя, моя вина!

Франц. Сколько тысяч людей, упивавшихся из кубка сластолюбия, исправлены были страданием! И разве телесное страдание, которым сопровождается всякое излишество, не есть указание божественной воли? Должен ли человек изменять ее своей жестокой нежностью, должен ли отец навеки погубить доверенный ему залог? Подумайте, батюшка, если вы предоставите его на некоторое время его бедственному положению, не должен ли он будет или обратиться и исправиться, или и в великой школе несчастья он останется мошенником, и тогда—горе отцу, который своим баловством уничтожает определения высшей мудрости! Ну, батюшка?

Ст. Моор. Я напишу ему, что я отрекаюсь от него.

Франц. Вы поступите справедливо и умирно.

Ст. Моор. Чтобы он никогда не являлся мне на глаза.

Франц. Это окажет спасительное действие.

Ст. Моор (с нежностью). Пока он не изменится.

Франц. Хорошо уж, хорошо. Но если он придет в маске лицемера, выплачет ваше сострадание, вымолит ласками ваше прощение, а завтра пойдет и будет смеяться над вашей слабостью в объятиях распутных женщин? Нет, батюшка! Он вернется добровольно, когда его оправдает совесть.

Ст. Моор. Так я сейчас же напишу ему это.

Франц. Постойте! еще одно слово, батюшка! Я боюсь, что ваше негодование подскажет вашему перу слишком жестокие слова, которые надорвут его сердце... и потом—не думаете ли вы, что он примет это уже за прощение, если вы удостоите его собственноручного письма? Поэтому будет лучше, если вы предоставите письмо мне.

Ст. Моор. Сделай это, сын мой. Ах, это ведь разбило бы мне сердце! Напиши ему.

Франц (быстро). Это, значит, решено?

Ст. Моор. Напиши ему, что тысяча кровавых слез, тысяча бессонных ночей... но не доводи моего сына до отчаяния!

Франц. Не ляжете ли вы в постель, батюшка? Это вас сильно потрясло.

Ст. Моор. Напиши ему, что отцовское сердце... Говорю тебе, не доводи моего сына до отчаяния! (Печально уходит).

Франц (со смехом, глядя ему вслед). Утешься, старик! Ты никогда не прижмешь его к своей груди; дорога сюда заграждена ему, как небо—аду. Он был вырван из твоих объятий, прежде чем ты знал, что мог бы этого хотеть. Я был бы жалким глупцом, если бы не сумел оторвать сына от сердца отца, будь они даже соединены железными узами. Я очертил вокруг тебя

магический круг проклятий, который ему не перешагнуть. В добрый час, Франц! Любимец удален—в лесу светлее. Нужно подобрать все эти бумаги, как легко мог бы кто-нибудь узнать мою руку! (Он собирает разорванные клочки письма). Горе скоро унесет также и старика, а у нее я должен вырвать из сердца этого Карла, хотя бы вместе с ним оторвалась половина ее жизни.

Я имею неоспоримые права сердиться на природу и, клянусь честью, я докажу их законность. Почему я не первым вышел из чрева матери? Почему не единственным? Почему взвалила она на меня этот гнет безобразия? Именно на меня? Как будто при моем рождении она обанкротилась. Почему именно мне дала она этот лапландский нос? именно мне—эти губы негра? эти глаза готтентота? Право, я думаю, что она из всех человеческих пород собрала в кучу все самое уродливое, и из этого создала меня. Проклятие и смерть! Кто уполномочил ее давать другому и лишать меня? Мог ли кто-нибудь угрождать ей, прежде чем явился, или оскорбить ее, прежде чем начал существовать? Почему действовала она так пристрастно?

Нет! нет! я несправедлив к ней. Она ведь снабдила нас изобретательностью, выбросила нас, нагих и жалких, на берег этого великого океана-мира—плыви, кто может плыть, а кто не ловок—погибай! Она ничего не дала мне; чем я стану, это теперь мое дело. Каждый имеет одинаковое право на самое великое и на самое малое; притязание уничтожается притязанием, стремление — стремлением, сила—силой. Право принадлежит победителю, и границы нашей силы—наши законы.

Правда, есть известные общественные дого-

воры, которые заключили, чтобы приводить в движение пульс мира. Честное имя! Поистине, это полновесная монета, с которой можно мастерски барышничать, если умеешь ее расходовать. Совесть—о, да, конечно! превосходное чуело, чтобы спугивать воробьев с вишневых деревьев! Это также ловко написанный вексель, с которым, в случае нужды, и банкрот может выпутаться.

В самом деле очень похвальные учреждения, чтобы держать дураков в почтении, а чернь под башмаком и чтобы умным людям жилось тем удобнее. Кроме шуток, очень забавные учреждения! Они представляются мне чем-то в роде заборов, которыми мои крестьяне так хитроумно обносят свои поля, чтобы не проскочил какой-нибудь заяц, да, сохрани Бог, какой-нибудь заяц! Но господин дает шпоры ксю своему и мчится вскачь по тому, что должно было быть жатвой.

Бедный заяц! Это все-таки жалкая роль—быть зайцем в этом мире... Но господину нужны зайцы!

Итак, смело перешагнем через это! Кто ничего не боится, не менее могуществен, чем тот, кто боится всего. Теперь мода носить на брюках пряжки, которыми их можно сделать шире или уже, по желанию. Мы подберем себе совесть по новейшему фасону, чтобы ее можно было хорошенько растягивать, по мере того как мы будем прибывать в объеме. Что мы можем с этим поделаться? Ступайте к портному! Я слышал столько всякой болтовни о кровной любви, что порядочный человек мог бы с ума сойти. Это твой брат! В переводе это значит: он вышел из той же печи, что и ты—поэтому да будет он для тебя священен! Заметьте, пожалуйста, эту

замысловатую последовательность, этот смешной вывод из близости тел о гармонии духа, из общности родины—об общности ощущений, из одинакового питания—об одинаковых склонностях! Но дальше... это твой отец! он дал тебе жизнь, ты его плоть и кровь—поэтому да будет он для тебя священен! Опять лукавый вывод! Я хотел бы, однако, спросить, зачем он меня произвел на свет? Ведь не из любви же ко мне, когда мое «я» еще только должно было слатся? Разве он меня знал, прежде чем он меня произвел? Или разве он обо мне думал, когда зачинал меня? Разве он меня желал? Разве он знал, что из меня выйдет? Этого я не посоветовал бы ему, иначе я мог бы его наказать за то, что он меня все-таки произвел! Могу ли я быть ему благодарным за то, что я мужчина? Так же мало, как я мог бы обвинять его, если бы он сделал меня женщиной. Могу ли я признавать любовь, которая не основывается на уважении к моему «я»? Могло ли быть налицо уважение к моему «я», которое явилось из того, что ему предстоит. В чем же заключается священное? Разве в том акте, благодаря которому я явился? Как будто в нем есть что-нибудь большее, чем скотский процесс для удовлетворения скотских желаний! Или священное, может быть, заключается в результате этого акта, являющегося неизбежной необходимостью, и от которого охотно отказались бы, если бы это не было в ущерб плоти и крови? Должен ли я быть ему благодарным за то, что он меня любит? Это его тщеславие, главный грех всех художников, которые кокетничают своим произведением, как бы оно ни было безобразно. Итак, смотрите, вот и все чары, которые вы окутали священным туманом.

чтобы злоупотреблять нашей трусостью. Неужели я должен допустить, чтобы меня, как мальчика, водили на этих помочах?

Итак, смелее! За дело! Я искореню вокруг себя все, что препятствует мне стать господином. Я должен быть господином, чтобы вынудить силою то, для чего у меня не хватает привлекательности. (Уходит) *.

Сцена II.

Корчма на границе Саксонии.

Карл Моор погружен в чтение. Шпигельберг пьет за столом.

Карл Моор (откладывает книгу). Мне противен этот чернильный век, когда я читаю у Плутарха о великих людях.

Шпигельберг (подставляет ему стакан и пьет). Ты должен читать Иосифа *).

К. Моор. Яркая искра Прометеева огня потухла, и ее теперь заменяют вспышки плаунового порошка — театральные огонь, о который нельзя зажечь и трубки табаку. Они карабкаются теперь, как крысы, на палицу Геркулеса **) и до отупения изучают вопрос о том, что это была за штука, которую он ввел в свой яичник. Один

*) Плутарх — греческий писатель (I в. до Рожд. Хр.), прославившийся своими жизнеописаниями великих людей.

Иосиф Флавий — еврейский историк (I в. до Рожд. Хр.), написавший известную „Историю Иудейской Войны“.

**) Прометей — герой древне-греческого мифа, покровитель людей, похитивший для них с неба огонь и прикованный за это Зевсом к скале (трагедия Эсхила „Прикованный Прометей“, есть русский перевод).

Геркулес — герой древнего мифа, полубог, исполнивший 12 подвигов невероятной трудности. Главным оружием его, по повествованию предания, была палица.

французский аббат проповедует, что Александр был трусом: один чахоточный профессор при каждом слове подносит к носу флакон с нашатырным спиртом и читает лекцию о силе Субъекты, которые падают в обморок, критикуют тактику Ганнибала; молокососы вылавливают фразы из битвы при Каннах и хнычут над победами Сципиона *), потому что они должны их переводить.

Шпигельберг. Это ведь совершенно александрийское нытье !

К. Моор. Прекрасная награда за труды, понесенные вами на поле битвы, что вы живете теперь в гимназиях и ваше бессмертие таскают тщательно затянутым в книжные ремни. Драгоценное воздаяние за вашу щедро пролитую кровь, что какой-нибудь нюрнбергский лавочник завернет в вас пряники, или, в лучшем случае, какой-нибудь французский драматург навинтит вас на ходули и будет дергать за проволоку. Ха, ха, ха!

Шпигельберг (пьет). Читай Иосифа, прошу тебя.

К. Моор. Тыфу! я плюю на этот бессильный век кастратов, непригодный ни к чему, как только пережевывать подвиги прежнего времени, искажать героев древности своими комментариями **) и калечить их трагедиями. Сила чресл их иссякла, и теперь продолжению рода человеческого должны помогать пивные дрожжи.

*) Ганнибал — знаменитый карфагенский полководец, живший в III в. до Рожд. Хр. и прославившийся своей борьбой с римским владычеством. В Каннах (город в южной Италии) он нанес римлянам страшное поражение.

Сципион — римский полководец, одержавший победу над Ганнибалом.

**) Комментарий — толкование.

Шпигельберг. Чай, братец, чай!

К. Моор. Они отгородились от здоровой природы пошлыми приличиями, у них не хватает духу осушить стакан, потому что они должны его выпить за чье-нибудь здоровье, они облизывают чистильщика сапог, чтобы он замолвил за них словечко у Его Милости и притесняют бедняка, которого не боятся. Боготворят за обед и готовы отравить друг друга из-за тюфяка, перекупленного на аукционе. Осуждают саддукея *), который редко ходит в церковь, и рассчитывают у алтаря свои жидовские проценты; становятся на колени, чтобы распустить свой шлейф, не спускают глаз с пастора, чтобы рассмотреть, как завит его парик. Падают в обморок при виде окровавленного гуся и рукоплещут, когда их соперник возвращается с биржи банкротом. — Как горячо я сжимал им руки, — «еще один день!» — Напрасно! В яму этого щенка! Просьбы! клятвы! слезы! (топает ногой). Тысяча чертей!

Шпигельберг. И все это из-за каких-то дрянных двух тысяч дукатов.

К. Моор. Нет, я не хочу об этом думать! Я должен втиснуть свое тело в корсет, а волю связать законом. Закон испортил и заставил ползти улиткой то, что должно было бы быть орлиным полетом. Закон не создал еще ни одного великого человека, между тем как свобода порождает колоссов и являет крайности. Они выстраиваются палисадником вокруг брюха тирана, служат настроениям его желудка и подвергают себя действию его ветров... Ах, если бы

*) Саддукеи — древне-еврейская религиозная секта, признававшая только Моисеевы законы.

дух Германа *) еще тлел в золе! Дай мне войско из таких людей, как я, и Германия станет республикой, против которой Рим и Спарта покажутся женскими монастырями (бросает шпагу на стол и встает).

Шпигельберг (вскакивая). Браво! бра-виссимо! Ты как раз наводишь меня на мысль. Я скажу тебе кое-что по-секрету, Моор, с чем я уже давно ношусь, и ты подходящий для этого человек — пей, брат, пей! Что, если бы мы обратились в иудеев и подняли бы опять речь об иудейском царстве?

К. Моор. А! Теперь я вижу — теперь я вижу — ты хочешь всюду установить обрезание, потому что цырюльник уже проделал это над тобой?

Шпигельберг. Ах ты, бездельник! Правда, я чудесным образом уже заранее подвергся обрезанию *. Но скажи, разве это не остроумный и смелый план? Мы рассылаем манифесты во все концы мира и призываем всех, кто не ест свиного мяса. Потом я доказываю достоверными документами, что Ирод, тетрарх, был мой предок и так далее. То-то, брат, славно будет, когда они опять заживут спокойно и примутся опять строить Иерусалим. Тогда мы живо выгоним турок из Азии, пока железо еще горячо, нарубим кедров на Ливане, настроим кораблей и примемся всем народом торговать старыми позументами и пряжками. Между тем...

Моор (берет его, улыбаясь, за руку). Товарищ, глупостям теперь конец!

*) Герман-Арминий — древне-германский полководец, освободивший германские племена от римского владычества (в I в. по Р.ж. Хр.).

Шпигельберг (изумленно). Фу, ведь не захочешь же ты разыгрывать блудного сына? Такой человек, как ты, начертивший своей шпагой на лицах больше, чем напишут три чиновника в книге правительственных распоряжений в течение високосного года! Не напомнить ли мне тебе о знаменитом погребении собаки? Ха, ха! Я должен восстановить перед тобой твой собственный образ, это подогреет твою кровь, если уже ничто другое не в состоянии тебя воодушевить. Помнишь ли ты, как господа советники приказали прострелить лапу твоему догу, а ты, в наказание, наложил пост на весь город? На твое распоряжение дулись; но ты, не будь плох, скупив все мясо во всем Лейпциге, так что через восемь часов во всей округе не осталось ни одной косточки, и рыба начала подниматься в цене. Магистрат и бюргеры замыслили мщение. Мы, студенты, смело вышли, нас было до тысячи семисот человек, и ты во главе мясники, портные, разносчики за нами, и трактирщики, и пирюльники и все нехв, и клялись, что разнесут весь город, если у нас тронут хоть один волос на голове. Дело кончилось так же, как стрельба в Горнберге, и они должны были уйти с носом. Ты созвал докторов, целый консилиум, и предлагая три дуката тому, кто пропишет собаке рецепт. Мы боялись, что эти господа сочтут это для себя унижением и откажутся, и уже условились принудить их к этому силою. Но это оказалось ненужным, господа передрались из-за трех дукатов и сбили цену до трех батценов; в час было написано двенадцать рецептов, так что животное вскоре после этого издохло.

К. Моор. Негодяи!

Шпигельберг. Погребальная процессия

была устроена со всем подобающим великозвением, стихотворений в честь собаки было множество, и мы выступили ночью—нас было около тысячи человек—с фонарем в одной руке, с боевой шпагой—в другой, и так через весь город с колокольным звоном и бряцанием оружия, пока собака не была зарыта. Потом началось пиршество, которое продолжалось до самого утра; потом ты поблагодарил господ за сердечное сочувствие и велел продать скупленное мясо за половинную цену. Mort de ma vie! Мы чувствовали к тебе почтение, как гарнизом в завоеванной крепости.

Моор. И тебе не совестно этим хвастаться? У тебя нет стыда даже настолько, чтобы стесняться таких проделок?

Шпигельберг. Полно, полно! Ты больше не Моор. Помнишь, сколько раз, бывало, ты с бутылкой в руке подшучивал над старым скрягой и говорил: пусть себя копит и собирает, а ты себе за это промочишь горло. Помнишь ты это? э? помнишь? О, ты, бессовестный, жалкий хвастун! Это еще было сказано, как подобает мужчине и дворянину, но...

Моор. Будь ты проклят за то, что напоминаешь мне об этом! Будь проклят я, что сказал это! Но это было сказано только под влиянием винных паров, и мое сердце не знало, что болтал мой язык.

Шпигельберг (качает головой). Нет! Нет! Нет! Этого не может быть. Это невозможно, брат, это не может быть серьезно с твоей стороны. Скажи, братец, не нужда ли тебя так настраивает? Слушай, я расскажу тебе случай из моего детства. Около моего дома был ров, в котором было, по крайней мере, восемь фу-

тов ширины; мы, мальчики, старались наперерыв перепрыгнуть через него; но это было напрасно. Хлоп! и свалился, и над тобой шум и смех, и тебя с головы до ног закидывают снежками. Возле дома сидела на цепи собака одного охотника, презлое животное, с быстротою молнии бросавшееся на девочек и хватавшее их за край юбки, если они не остерегались и проходили слишком близко. Величайшим моим наслаждением было дразнить эту собаку, где и как только можно, и я умирал от смеха, когда животное так злобно на меня глядело и так охотно бросилось бы на меня, если бы только могло. И что же случилось? Раз я опять раздражил ее и так сильно пустил ей камнем в бок, что она от ярости сорвалась с цепи и кинулась на меня, а я бросился со всех ног бежать. Тысяча чертей! тут как раз этот проклятый ров поперек дороги. Что делать? Разъяренная собака мчится за мной по пятам, поэтому, не долго думая, я разбежался и—перескочил. Этому прыжку я обязан жизнью и целостью своих членов—злая бестия растерзала бы меня в клочки.

М о о р. Но к чему ты это говоришь?

Ш п и г е л ь б е р г. К тому, чтобы ты видел, как силы возрастают в нужде. Поэтому я никогда не робею, если дело доходит до крайности. Мужество растет с опасностью; сила увеличивается в беде. Судьба, должно быть, хотела сделать из меня великого человека, потому что она постоянно становится мне поперек дороги.

М о о р (гневно). Я не знаю, на что еще нам нужно было бы мужество и на что нам его не доставало?

Ш п и г е л ь б е р г. Вот как? Ты хочешь, следовательно, дать своим дарованиям загдох-

нуть? Зарыть свой талант в землю? Не думаешь ли ты, что твои проделки в Лейпциге представляют верх человеческого остроумия? Ну, так выйдем прежде в большой свет! Париж и Лондон!.. Там получишь пощечину, если назовешь кого-нибудь честным человеком. Душа ведь радуется, когда ремесло поставлено на широкую ногу. То-то будешь глазеть, то-то будешь удивляться! А как подделывают подписи, как метят игральные кости, как взламывают замки и вытряхают содержимое сундуков—этому ты выучишься еще у Шпигельберга! Того каналью, который с здоровыми пальцами считает нужным пропадать с голоду, надо повесить на первой попавшейся виселице.

М о о р (рассеянно). Как? Ты, пожалуй, зашел еще дальше?

Ш п и г е л ь б е р г. Мне кажется, ты относишься ко мне с недоверием. Подожди, дай мне только разойтись: ты увидишь чудеса; у тебя голова кругом пойдет, когда мой блестящий ум, наконец, разрешится чем-нибудь (встает, с жаром). Как все проясняется во мне! Великие мысли зарождаются в моей душе! Исполнинские планы кипят в моем творческом мозгу! Проклятая спячка (ударяет себя по лбу), которая до сих пор держала в цепях мои силы, тормозила мои планы и мешала им! Я просыпаюсь, я чувствую, кто я—кем я должен быть!

М о о р. Ты глупец. Вино бродит в тебе.

Ш п и г е л ь б е р г (с еще большим жаром). «Шпигельберг. — будут говорить, — можешь ты колдовать, Шпигельберг?». «Жаль, что ты не генерал, Шпигельберг,—скажет король,—ты прогнал бы австрийцев через петлю пуговицы». «Да, — скажут доктора с сожалением,—это непрости-

тельно, что этот человек не изучал медицину, он изобрел бы новый порошок от зоба». «Как жаль, что камеральные науки не его специальность,— будут вздыхать в своих кабинетах разные Сюлли,—он превратил бы камни в луидоры». О Шпигельберге будут говорить на востоке и западе, а вы—трусы, вы—тадины, пресмыкайтесь в грязи, между тем как Шпигельберг, распростерши крылья, взлетит к храму вечной славы.

Моор. Счастливого пути! Поднимайся по позорному столбу к венцу славы. В тени моих родных лесов, в объятиях моей Амалии ждет меня чистая радость. Еще на прошлой неделе написал я отцу, прося у него прощения, я не скрыл от него ни малейшей подробности. Где есть искренность, там есть и сострадание и помощь. Простимся, Мориц. Мы видимся сегодня в последний раз. Почта пришла. Прощение моего отца уже в стенах города.

(Швейцар, Гримм, Роллер, Шуфтерле, Рацман входят).

Роллер. Знаете ли вы, что нас разыскивают?

Гримм. Что каждую минуту нас могут арестовать?

Моор. Меня это не удивляет. Пусть будет, что будет! Не видали ли вы Шварца? Не говорил ли он, что у него есть для меня письмо?

Роллер. Он давно уже тебя ищет, кажется что-то есть.

Моор. Где он? где, где? (хочет поспешно уйти)

Роллер. Останься! Мы послали его сюда. Ты дрожишь?

Моор. Я не дрожу. Почему мог бы я дро-

жать? Товарищи! Это письмо... Порадуйтесь со мной! Я счастливейший человек на земле, почему мог бы я дрожать?

(Шварц входит).

Моор (бросается ему навстречу). Брат! письмо! письмо!

Шварц (подает ему письмо, которое тот быстро вскрывает). Что с тобой? Ты побледнел, как полотно!

Моор. Рука моего брата!

Шварц. Что делает Шпигельберг?

Гримм. Этот молодец с ума сошел. Он делает такие движения, как будто у него пляска святого Витта.

Шуфтерле. У него в голове помутилось. Я думаю, он сочиняет стихи.

Рацман. Шпигельберг! Эй, Шпигельберг! Не слышит, бестия.

Гримм (встряхивает его). Приятель! ты бредишь, или...

Шпигельберг (который все время, сидя в углу, жестикулировал, как будто объясняя какой-то проект, дико вскакивает с криком «La bourse ou la vie!» и хватает за горло Швейцера, который спокойно отбрасывает его к стене.—Моор роняет письмо и бросается вон из комнаты. Все вскакивают).

Роллер (вслед ему). Моор! Куда ты, Моор? Что ты хочешь делать?

Гримм. Что с ним? Что с ним? Он бледен, как мертвец

Швейцер. Хорошие должно быть новости! Посмотрим!

Роллер (поднимает письмо и читает). «Несчастный брат!» Начало звучит недурно. «Я дол-

жен сообщить тебе в коротких словах, что твоя надежда не оправдалась,—ты должен идти туда, говорит отец, куда ведут тебя твои позорные дела. Не надейся также, говорит он, вымолить милость у его ног, если не хочешь жить, питаясь хлебом и водой, в самых глубоких подвалах его башен, пока твои волосы не отрастут, как перья орла, а твои ногти не превратятся в птичьи когти. Это его собственные слова. Он приказывает мне кончить письмо. Прощай навеки! Мне жаль тебя, Франц фон-Моор».

Швейцер. Премильный братец! Действительно! Францем зовут этого негодяя?

Шпигельберг (неслышно приближаясь). Речь идет о хлебе и воде? Чудесная жизнь! Нет, я лучше о вас позаботился! Не говорил я, что мне придется в конце концов думать за всех?

Швейцер. Что говорит эта баранья голова? Осел хочет думать за всех нас?

Шпигельберг. Зайцы вы все, убогие, хромые вы собаки, если у вас не хватает смелости отважиться на что-нибудь крупное!

Роллер. Ну, ты, конечно, можешь нас так называть, ты прав! Но выведет ли нас из этого проклятого положения то, на что ты хочешь отважиться? Выйдем ли мы из этого положения?

Шпигельберг (с гордым смехом). Бедняга! он хочет выйти из этого положения!... ха-ха-ха! Выйти из этого положения? И это все, на что рассчитывает твой жалкий мозг? И этим ты удовольствуешься и поворишь оглобли? Каким ничтожным существом должен был бы быть Шпигельберг, если бы он начал с этого! Героями, говорю я тебе, должно это вас сделать, баронами, князьями, богами!

Рацман. И все это сразу! Поистине, это

много. Но это будет, вероятно, головоломное предприятие, оно будет по меньшей мере стоить жизни.

Шпигельберг. Оно не требует ничего, кроме смелости, потому что все что касается ума, я беру целиком на себя. Смелость, говорю я, Швейцер! Смелость, Роллер, Гримм, Рацман, Шуфтерле! Смелость!

Швейцер. Смелость? Если дело только в этом—смелости у меня довольно, чтобы пройти босиком по самой середине ада.

Шуфтерле. Или, стоя под виселицей, схватиться с самим дьяволом из-за бедного грешника.

Шпигельберг. Это мне нравится! Если у вас есть смелость, пусть кто-нибудь выйдет вперед и скажет, что он может еще что-нибудь потерять и не рассчитывает все выиграть!

Шварц. По правде сказать, многое пришлось бы потерять, если бы я должен был потерять то, что мне еще предстоит приобрести!

Рацман. Да, чорт возьми! И многое приобрести, если бы я хотел приобрести то, чего не могу потерять.

Шуфтерле. Если бы мне пришлось потерять то, во что я одет—да и то в долг—то завтра мне, во всяком случае, нечего было бы больше терять.

Шпигельберг. Итак решено! (становится среди них; убедительным тоном). Если в ваших жилах течет еще хоть капля геройской немецкой крови—идемте! Отправимся в богемские леса, соберем шайку разбойников и... что вы на меня вытарзили глаза? Или ваша капелька смелости уже испарилась?

Роллер. Ты, конечно, не первый мошен-

ник, который забывает о виселице—и все-таки какой остается нам выбор?

Шпигельберг. Выбор? Что? Нет у вас выбора! Или вы хотите сидеть в тюрьме за долги и гнить там заживо, пока не прозвучит труба Страшного Суда? Или хотите мучиться с лопатой и киркой из-за куска хлеба? Или, может быть, хотите петь Лазаря под окнами и выжимать у людей жалкую милостыню? Может быть, поступите в солдаты—да еще большой вопрос, вызовут ли ваши лица доверие—и там, перенося желчные выходки грубого капрала, будете заранее предвкушать огонь чистилища? Или пойдете, звеня кандалами, маршировать в такт барабана? Или в галерном раю будете таскать за собой всю кузницу Вулкана? ¹⁸ Смотрите, вот что вам придется выбирать, вот тут все, что вы можете выбрать!

Роллер. Шпигельберг не совсем неправ. У меня тоже были свои планы, но все они, в сущности, сводятся к тому же. Хорошо было бы, думаю я, если бы мы засели и состреляли какой-нибудь сборник или альманах, или что-нибудь в этом роде, или писали бы за хорошие денежки рецензии, как это теперь в моде? ¹⁹

Шуфтерле. Чорт возьми! Ваши планы очень близко подходят к моим проектам. Я подумывал про себя—что, если бы ты сделался святошей и еженедельно вел бы назидательные беседы?

Гримм. Вот именно! А если это не пойдет, то—атеистом! Мы могли бы в клочья разнести чегырех евангелистов, нашу книгу предали бы сожжению через палача, и тогда ее мгновенно раскупили бы.

Рацман. Или мы двинулись бы в поход

против французов—я знаю одного доктора, который выстроил себе дом из чистой ртути, как гласит надпись у него на входной двери ²⁰.

Швейцер (встает и подает Шпигельбергу руку). Мориц, ты великий человек! Или слепая свинья изшла жолудь.

Шварц. Превосходные планы! Почтенные ремесла! И как великие умы сочувствуют друг другу! Теперь недостает только, чтобы мы сделались бабами и своднями—или стали бы торговать своей деветвенностью.

Шпигельберг. Вздор! Вздор! И почему вам не соединить возможно большее в одном лице? Мой план будет вас постоянно побуждать стремиться все выше и выше, и вы еще заслужите славу и бессмертие! Видите, несчастные, и о дальнейшем надо подумать! И о славе среди потомства и о сладком чувстве бессмертия...

Роллер. И притом еще в списке честных людей! Ты удивительный оратор, Шпигельберг, когда дело коснется того, чтобы из честного человека сделать мерзавца. Но скажите же кто-нибудь, куда девался Моор?

Шпигельберг. Честный, говоришь ты? Ты думаешь, что после этого ты будешь менее честен, чем теперь? Что ты называешь честным? Освобождать богатых скряг от трети их забот, которые только лишают их драгоценного сна, пускать в оборот мертвые капиталы, восстанавливать опять равновесие имуществ,—одним словом, вернуть золотой век; избавить Господа Бога от надоедливых нахлебников без помощи войны, чумы, потери дорогого времени и докторов—видишь, это я называю быть честным, это я называю быть достойным орудием в руках Провидения—и при всяком проглоченном куске

жаркого питать лестную мысль: это тебе доставили твоя хитрость, твоя львиная храбрость, твои ночные бдения—быть в почете у всех от мала до велика.

Роллер. И, наконец, еще быть взятым живым на небо и, несмотря на бурю и ветер, несмотря на прожорливый желудок старого прадеда Времени, парить под солнцем и месяцем и неподвижными звездами, где неразумные птицы небесные, привлеченные благородным стремлением, поют свои небесные концерты, а ангелы с хвостами заседают в своем святейшем синедрионе? Не правда ли? И между тем, как моли и черви будут поедать монархов и властителей, ты будешь иметь честь принимать визиты царственной птицы Юпитера? Мориц, Мориц, Мориц! Берегись трехногого зверя! ¹⁵

Шпигельберг. И это пугает тебя, заячье сердце? Ведь уж не один универсальный гений, который мог бы преобразовать мир, сгнил на месте казни, и разве о нем не говорят в течение столетий и тысячелетий, тогда как иной король или курфюрст был бы совершенно пропущен в истории, если бы его историограф не боялся пропускать в родословной и если бы его книга не приобретала таким образом двух лишних страниц в восьмую долю листа, за которые издатель платит ему чистыми деньгами. И когда путник видит тебя качающимся от ветра, он бормочет себе в бороду: «У него, должно быть, голова не соломой была набита»—и вздыхает о плохих временах.

Швейцер (хлопает его по плечу). Чудесно. Шпигельберг, чудесно! Что же, чорт возьми, вы там стоите и колеблетесь?

Шварц. И пусть это называется бес-

честьем, что же из этого следует? Разве нельзя на этот случай всегда иметь с собой порошок, который отправляет человека втихомолку через Ахерон *), где никому до этого дела нет. Нет, брат Мориц, твое предложение хорошо, так гласит и мой катехизис.

Шуфтерле. Гром и молния! И мой также. Шпигельберг, ты меня завербовал.

Рацман. Ты, как второй Орфей **), усыпил музыкой своих слов воющее чудовище—мою совесть. Бери меня всего, как я есть!

Гримм. Si omnes consentiunt ego non dissentio ¹⁶. Заметьте, без запятой. У меня в голове целый аукцион: святоши, шарлатаны, рецензенты и мошенники. Кто больше даст, тот меня и получает. Возьми эту руку, Мориц!

Роллер. И ты также, Швейцер? (подаст Шпигельбергу правую руку). Итак, я продаю душу чорту.

Шпигельберг. А свое имя звездам! Что в том, куда пойдет душа? Когда толпы посланных вперед курьеров возвестят о нашем прибытии, пусть все слуги сатаны нарядятся по-праздничному, пусть сотрут с ресниц тысячелетнюю копоть и пусть мириады рогатых голов поднимутся из дымящихся отверстий их серных каминов, чтобы видеть наше шествие. Товарищи! (вскакивает). Скорее, товарищи! Что в мире может сравниться с этим опьянением восторга! Идемте, товарищи!

*) Ахерон—сказочная река в преисподней, на берегах которой, по древнему мифу, души умерших ожидают перевозчика Харона.

**) Орфей—сказочный древне-греческий певец и музыкант.

— Роллер. Тише! тише! Куда? Зверь должен иметь голову, дети!

Шпигельберг (ядовито). Что проповедует этот рохля? Разве не было головы еще прежде, чем двинулся хоть один член? За мной, товарищи!

Роллер. Тише, говорю я. И свобода должна иметь своего господина. Без главы погибли Рим и Спарта.

Шпигельберг (уступчиво). Да, стойте... Роллер говорит дело. И это должна быть светлая голова. Вы понимаете? Это должен быть тонкий политический ум. Да, когда я только подумаю, чем вы были час тому назад, чем вы стали теперь, благодаря одной счастливой мысли. Да, конечно, конечно, вы должны иметь начальника. И у кого возникла эта мысль, скажите, разве у него не светлый, политический ум?

Роллер. Еслиб можно было надеяться... еслиб можно было мечтать... но я боюсь, что он этого не сделает.

Шпигельберг. Почему же нет? Говори смело, друг! Как ни трудно направлять борющийся против ветра корабль, как ни тяжело носить корону—говори смело, Роллер, может быть, он все-таки это сделает.

Роллер. Все расползется, если он этого не сделает. Без Моора, мы—тело без души.

Шпигельберг (сердито отворачивается). Болван!

Моор (входит в сильнейшем волнении и в гневе бежит взад и вперед по комнате, гонимый сам с собой). Люди, люди! Лживое лицемерное порождение крокодилов! Их слезы—вода, их сердце—железо! Поцелуй на губах—меч в груди! Львы и леопарды кормят своих детенышей,

вороны питают своих птенцов падалью, а он, он... Я выучился переносить злобу, я могу улыбаться, когда разъяренный враг пьет кровь моего сердца; но когда кровная любовь становится изменницей, когда любовь отца обращается в мерзость *)—о, тогда запрыгай огнем, мужское хладнокровие! обратись в тигра, кроткая овца! И пусть каждый волос трепещет гневом и гибелью!

Роллер. Слушай, Моор! Как ты думаешь? Жизнь разбойника ведь все-таки лучше, чем хлеб и вода в подземельях башни?

Моор. Почему этот дух не вселился в тигра, который вонзает свои страшные зубы в тело человека? Разве это долготерпение отца? Разве это любовь за любовь? Я хотел бы быть медведем, чтобы натравить всех медведей севера на этот род убийц!.. Раскаяние—и никакого милосердия!.. О, я хотел бы отравить океан, чтобы они пили смерть из всех источников! Доверие, такое полное, непоколебимое доверие—и никакого сострадания!

Роллер. Послушай же, Моор, что я говорю!

Моор. Это невероятно, это сон, это ошибка... Такая трогательная просьба, такое живое описание страданий и горя, такое горячее раскаяние—дикий зверь почувствовал бы сострадание, камень пролил бы слезы, и однако... Это приняли бы за злобный пасквиль на человеческий род, еслиб я рассказал это, и однако, однако... О, если бы я мог трубным звуком призвать к восстанию всю природу и воздух, землю и

*) Мегера—одна из трех фурий, древне-греческих богинь мести, называвшихся «олимпийскими».

море повести в бой против этого порождения гИен!

Г р и м м. Послушай же, послушай! Ты ведь ничего не слышишь от ярости!

М о о р. Прочь, прочь от меня! Разве твое имя не человек? Разве не женщина родила тебя? Прочь с моих глаз, ты, с твоим человеческим образом! Я его так невыразимо любил! Так не любил ни один сын; я отдал бы за него тысячу жизней... (в бешенстве топает ногой). Ха! Если бы кто-нибудь дал мне теперь меч в руку, чтобы нанести жгучую рану этому порождению ехидны! Если бы кто-нибудь сказал мне, как попасть в самое сердце их жизни, раздавить его, уничтожить—тот будет моим другом, моим ангелом, моим богом, я буду ему поклоняться!

Р о л л е р. Такими именно друзьями мы и хотим быть, выслушай же!

Ш в а р ц. Пойдем с нами в богемские леса! Мы хотим собрать шайку разбойников, а ты... (Моор дико смотрит на него).

Ш в е й ц е р. Ты будешь нашим атаманом! Ты должен быть нашим атаманом!

Ш п и г е л ь б е р г (гневно бросается в кресло). Рабы и трусы!

М о о р. Кто внушил тебе эти слова? Слушай, приятель! (резко хватает Роллера). Эти слова родились не в твоей человеческой душе! Кто шепнул их тебе? Да, клянусь, тысячерукой смертью! Мы это сделаем, мы должны это сделать! Эта мысль достойна поклонения! Разбойники и убийцы! Клянусь моей душой, я буду вашим атаманом!

В с е (с оглушительным криком). Да здравствует атаман!

Ш п и г е л ь б е р г (вскакивая, про себя). Пока я не отправлю его на тот свет!

М о о р. Вот, как будто бельмо сходит с моих глаз! Каким глупцом я был, что хотел опять вернуться в клетку! Мой дух жаждет дея, мое дыхание требует свободы... У б и й ц а, разбойник! Этими словами закон брошен мне под ноги... Люди скрыли от меня человечность, когда я взывал к человечности; итак, прочь сочувствие и человеческое милосердие! У меня нет более отца, у меня нет более любви; пусть кровь и смерть заставят меня забыть, что у меня когда-либо было что-нибудь дорогое! Идем, идем! О, я устрою себе ужасное развлечение... Решено, я—ваш атаман и благо тому из вас, кто будет безжалостнее все выжигать кругом и убивать самым жестоким образом: ибо—я говорю вам,—он будет награжден по-царски. Встаньте все вокруг меня и клянитесь мне в верности и послушании до самой смерти! Клянитесь мне в этом вашей правой рукой.

В с е (подают ему руку). Мы клянемся тебе в верности и послушании до самой смерти!

М о о р. Также и я клянусь вам своей правой рукой верно и стойко оставаться вашим атаманом до самой смерти! Эта рука сразу положит на место того, кто когда-либо оробеет, или усумнится, или отступит! И каждый из вас должен сделать то же самое со мной, если я нарушу свою клятву! Довольны ли вы? (Шпигельберг с бешенством бегаёт взад и вперед).

В с е (бросая вверх шляпы). Мы довольны!

М о о р. Ну, так пойдёмте! Не бойтесь ни смерти, ни опасности, ибо нами управляет немолчаливая судьба. Для каждого пробьет, в конце концов, свой час; будет ли это на мягких пухо-

гих подушках, или в пылу сражения, или на виселице, или в пытках—смерть неизбежна (они уходят).

Шнигельберг (смотрит им вслед; после паузы). Твой список не полон. Ты пропустил яд.

(Уходит).

Сцена III.

В замке Моор. Комната Амалии.

Франц. Амалия.

Франц. Ты отворачиваешься, Амалия? Неужели я заслуживаю меньше внимания, чем тот, кого проклял отец?

Амалия. Прочь! Да, любвеобильный, милосердный отец, который отдает своего сына в жертву волкам и чудовищам! Он наслаждается дома сладким превосходным вином и покомит свои дряхлые члены на пуховых подушках, между тем как его великодушный, прекрасный сын терпит нужду. Стыдитесь вы, изверги! Стыдитесь, змеиные души, позор человечества! Единственный сын!

Франц. Мне казалось, что у него их двое.

Амалия. Да, он заслуживает иметь таких сыновей, как ты. На смертном одре он напрасно протянет свои дряхлые руки, ища Карла, и отпрянет, содрогаясь, когда схватит холодную, как лед, руку своего Франца. О, это сладко, бесконечно сладко получить проклятие твоего отца! Скажи, Франц, добрая братская душа, что нужно сделать, чтобы получить это проклятие?

Франц. Ты бредишь, милая, ты внушаешь мне сожаление.

Амалия. О, пожалуйста—разве ты сожалелешь своего брата? Нет, изверг, ты некавидишь его! Ты ненавидишь также и меня!

Франц. Я люблю тебя, как себя самого, Амалия!

Амалия. Если ты меня любишь, ты, может быть, не откажешь мне в просьбе?

Франц. Ни в одной, ни в одной! Если она только не больше моей жизни.

Амалия. О, если это так! Просьба, которую ты так легко, так охотно исполнишь! (Гордо). Ненавидь меня! Я должна была б сгореть от стыда, если бы, думая о Карле, я вспомнила, что ты меня не ненавидишь. Ты ведь обещаешь мне это? Теперь уходи и оставь меня, я так люблю оставаться одна.

Франц. Милая мечтательница! Как я удивляюсь твоему кроткому, любвеобильному сердцу! (Дотрагиваясь до ее груди). Здесь, здесь царил Карл, как божество в своем храме; Карл стоял перед тобою днем, Карл владел твоими снами, весь мир, казалось, сливался для тебя в нем одном, в нем одном все отражалось, все звучало им одним.

Амалия (в восторге). Да, действительно, я признаюсь в этом. Вам, варварам, на зло, я признаюсь в этом перед всем светом—я люблю его!

Франц. Бесчеловечно, жестоко! Такую любовь и так вознаградить! Забыть ту...

Амалия (вскакивая). Что, забыть меня?

Франц. Не надела ли ты ему кольцо на палец, бриллиантовое кольцо в залог твоей верности? Конечно, разве может юноша устоять против прелестей распутной женщины? Кто осудит его, раз ему нечего было больше подарить—

и не заплатила ли она ему с избытком своими ласками и об'ятиями?

Амалия (в гневе). Мое кольцо распутной женщине?

Франц. Фуй, фуй! Это низко. Но хорошо, еслиб это было все! Кольцо, как бы драгоценно оно ни было, можно, в сущности, опять приобрести у любого жида... может быть, ему не понравилась работа, может быть, он выменял его на более красивое.

Амалия (гневно). Но мое кольцо, я спрашиваю... мое кольцо?

Франц. Какое же еще, Амалия? А! такая драгоценность, и на моем пальце... и от Амалии! Сама смерть не сняла бы его отсюда... Не правда ли, Амалия, не цена брильянта, не искусство в отделке—любовь составляет его ценность... Милое дитя, ты плачешь? Горе тому, кто выжимает эти драгоценные капли из таких небесных глаз! Ах, а если бы ты знала все, если бы ты видела его самого, его—в таком виде!

Амалия. Изверг!.. Как, в каком виде?

Франц. Тише, тише, добрая душа, не спрашивай меня больше! (Как будто про себя, но громко) Еслиб, по крайней мере, этот отвратительный порок имел завесу, чтобы скрываться от глаз людей! Но он выглядывает, наводя ужас, из желтых, свинцовых кругов под глазами, он выдает себя смертельной бледностью осунувшегося лица и безобразно выступившими костями, он слышен в беззвучном, изменившемся голосе, он громко заявляет о себе всем своим дрожащим, качающимся остовом, он проникает до мозга костей и надламывает мужественную силу юности, он сочится гнойной и едкой материей из лба, щек и рта и покрывает все тело мерз-

кой проказой и отвратительно гнездится в позорных, скотских ямах—фуй, фуй! мне противно. Нос, глаза, уши трясутся... Ты видела того, несчастного, Амалия, который умирал в нашей больнице? Стыд, казалось, зажмурил перед ним свои смущенные глаза. Ты очень жалела его. Вызови этот образ еще раз в твоей памяти, и вот—Карл перед тобой! Его поцелуй зачумлен, его губы отравят тебя!

Амалия (ударяет его). Бесстыдный клеветник!

Франц. Тебя пугает этот Карл? Тебе противно уже от одного этого бледного наброска? Иди, смотри на него сама, на твоего прекрасного, ангельского, божественного Карла! Иди, вдыхай его благовонное дыхание и пусть тебя отравят божественные ароматы, испаряющиеся из его рта! Одно только дыхание его уст погрузит тебя в тот глубокий, сходный со смертью обморок, который является при вдыхании разлагающейся падали и при виде покрытого трупами поля сражения.

Амалия (отворачивается).

Франц. Какие порывы любви! Сколько наслаждения в об'ятиях!.. Но справедливо ли осудить человека только за болезненную внешность? И в самом жалком калеке, в роде Эзопа*), может сняться, подобно рубину в грязи, великая, достойная любви душа. (Злобно улыбаясь). И на зараженных губах может ведь любовь... конечно, если порок расшатывает также и силу характера, если вместе с чистотой исчезает и добродетель, как испаряется аромат увядшей розы, если вместе с телом становится калеской и дух...

*) Эзоп—древний баснописец.

А м а л и я (радостно вскакивая). А! Карл, я опять узнаю тебя! Ты все тот же! Все тот же! Все это была ложь. Разве ты не знаешь, злодей, что Карлу невозможно сделаться таким? (Франц стоит несколько времени в глубокой задумчивости, потом внезапно поворачивается, чтобы уйти). Куда ты так спешишь? ты убегаешь от собственного позора?

Ф р а н ц (закрыв лицо). Пусти меня, пуст...! Нужно дать исход слезам... Тиран-отец! Лучшего из твоих сыновей отдать в жертву несчастью, предать его на позор... Пусти меня, Амалия! Я брошусь к его ногам, я на коленях умолю его перенести проклятие на меня, лишит меня наследства, меня... мою кровь... мою жизнь... все...

А м а л и я (бросается ему на шею). Брат моего Карла! Милый, дорогой Франц!

Ф р а н ц. О, Амалия! Как я люблю тебя за эту непоколебимую верность моему брату. Прости, что я осмелился подвергнуть твою любовь такому жестокому испытанию! Как прекрасно ты осуществила мои желания! Этими слезами, этими вздохами, этим божественным гневом... и мне, мне... наши души были так согласно настроены...

А м а л и я. О нет, этого никогда не было.

Ф р а н ц. Ах, они были так созвучны, я всегда думал, что мы должны были бы быть близнецами! И если бы не было этой несчастной разницы во внешности, при чем Карл, к сожалению, должен был бы, конечно, "потерять", нас постоянно смешивали бы. Ты совершенный Карл, говорил я часто сам себе, ты его эхо, его подобие!

А м а л и я (качает головой). Нет, нет, кля-

нусь непорочным светом неба! Ни одной жилки сходной, ни одной искорки его чувства...

Ф р а н ц. Сколько сходства в наших склонностях... роза была его любимым цветком—какой цветок ставлю я выше розы? Он любил музыку невыразимо — и, будьте вы свидетелями, звезды!—как часто, среди мертвой тишины ночи, вы подслушивали меня у фортепьяно, когда все вокруг меня было погружено в мрак и сон; и как можешь ты еще сомневаться, Амалия, если наша любовь совпала в одном совершенстве, а если любовь одна и та же, то как могут выродиться ее дети?

А м а л и я (смотрит на него с удивлением).

Ф р а н ц. Был тихий ясный вечер, последний перед его отъездом в Лейпциг, когда он повел меня с собой в ту беседку, где вы так часто сидели, погруженные в грезы любви; мы долго молчали; наконец, он взял меня за руку и сказал тихо, со слезами на глазах: я покидаю Амалию; я не знаю—у меня есть предчувствие, как будто я оставляю ее навсегда. Не покидай ее, брат! будь ей другом... ее Карлом... если Карл... больше не вернется... (Бросается перед ней на колени и горячо целует ей руку). Никогда, никогда, никогда он не вернется, а я обещал ему с священной клятвой!

А м а л и я (отскакивая). Изменник, я ловлю тебя на слове! В этой именно беседке он заклинал меня не любить другого... если бы ему суждено было умереть... Видишь, как безбожно, как отвратительно ты лжешь... Уходи с глаз моих!

Ф р а н ц. Ты не знаешь меня, Амалия, ты меня совсем не знаешь!

А м а л и я. О, я знаю тебя, отныне я знаю тебя. И ты говорил, что похож на него? Что он плакал обо мне перед тобой? Перед тобой? Скорее он написал бы мое имя на позорном столбе! Уходи сию минуту!

Ф р а н ц. Ты оскорбляешь меня!

А м а л и я. Иди, говорю я. Ты похитил у меня драгоценный час, пусть он вычтется из твоей жизни.

Ф р а н ц. Ты ненавидишь меня!

А м а л и я. Я презираю тебя!

Ф р а н ц (топнув ногой). Подожди! ты будешь трепетать передо мной! Мной пожертвовать ради нищего? (В гневе уходит).

А м а л и я. Негодяй! Теперь я опять с Карлом. Нищий, говорит он? Значит, свет перевернулся: нищие стали королями, а короли—нищими. Я не променяла бы надетые на нем лохмотья на пурпур царей. Взгляд, с которым он просит милостыню, должен быть величественным взглядом короля,—этот взгляд уничтожает величие, пышность, торжество знатных и богатых! Лежи в прахе, сверкающее украшение! (срывает с шеи жемчуг). Будьте прокляты, вы, кто носите золото, и серебро, и драгоценности, вы, знатные и богатые! Будьте прокляты, вы, пирующие за роскошными столами! Проклятие вам, покоящимся на мягких ложах сладострастия! Карл! Карл! Теперь я достойна тебя. (Уходит).

ВТОРОЙ АКТ.

Сцена I.

Франц фон Моор (в своей комнате, в раздумье).

Это тянется слишком долго — доктор думает, что он поправляется. Жизнь старика—целая вечность! Предо мной открывался бы свободный, ровный путь, если бы не было этого досадного цепкого куска мяса, который преграждает мне дорогу к моим сокровищам, подобно подземной волшебной собачке в фантастических сказках.

Но неужели же мои планы должны склониться перед железным ярмом механизма? Неужели мой гордый дух должен быть прикован к медленному, как улитка, движению материи? Потушить лампу, в которой и без того догорают последние капли масла—вот и все. И все-таки я не хотел бы сделать это сам... из-за людей. Я не хотел бы его убивать, а только прекратить его жизнь. Я хотел бы сделать это, как искусный врач, только наоборот... Не преграждать природе путь каким-нибудь препятствием, но способствовать ее движению. И ведь мы, действительно, можем продлить жизнь, почему же не могли бы мы ее также и сократить?

Философы и медики указывают мне, как поразительно настроение духа согласуется с состоянием организма. Ревматические ощущения

постоянно сопровождаются расстройством механических движений, страсти истощают жизненную силу, переутомленный дух пригибает свою телесную оболочку к земле. Как же теперь быть? Если бы кто-нибудь сумел проторить смерти эту ненаезженную дорогу к замку жизни?.. Погубить тело при помощи духа! Ха, ха, ха! Какой оригинальный замысел!.. Кто мог бы это выполнить? Замысел, которому еще не было подобного! Подумай об этом, Моор! Это было бы искусство, которое заслуживало бы, чтобы ты был его изобретателем! Ведь возвысили же отравление ядов почти на степень настоящей науки и посредством опытов вынудили природу указать свои границы, так что теперь высчитывают удары сердца за несколько лет вперед, и пульсу говорят: до сих пор, но не дальше! *) Почему не попытать свои силы и здесь?

И как мне теперь приняться за дело, чтобы разрушить это нежное, мирное согласие души с телом? Какие ощущения нужно мне выбрать? Конечно, те, которые наиболее жестоко враждуют с цветом жизни? Гнев? Этот алчный волк слишком скоро насыщается. Завоту? Этот червь подтачивает слишком медленно. Тоску? Эта схида ползет слишком лениво. Боязнь? Надежда не позволяет ей вполне овладеть человеком... Как? Неужели это и все падахи человечества? Неужели арсенал смерти так

*) Говорят, одна дама в Париже путем систематических опытов над ядовитыми порочками дошла до того, что могла заранее определять с приближительной точностью день смерти. Позор нашим врачам, которых дама эта посрамила в искусстве прогноза!

(Примечание Шиллера).

быстро исчерпан? (Глубоко задумывается). Как? Разве?.. Нет! Ха! (Вскакивая). Ужас! Чего не делает ужас! Ни разум, ни религия не могут противостоять ледяному объятию этого гиганта! И все-таки... Если он выдержит и это потрясение? Если он... О, тогда приди ты мне на помощь, горе, и ты, раскаяние, адская Эменида, подкапывающаяся змея, которая отгрызает свою пищу и пожирает собственные извержения—вы, вечные разрушительницы и вечные создательницы своего яда! И ты, воющее самосудение, которое опустошает свой собственный дом и наносит раны собственной матери... И если еще и вы придете мне на помощь, благодетельные грации, ты, кротко-улыбающееся прошлое, и ты, цветущее будущее с твоим переполненным рогом изобилия, показывайте ему в ваших зеркалах радости неба, когда ваши крыленные ноги будут ускользать из его жадных объятий... Так буду я нападать на эту хрупкую жизнь, удар за ударом, потрясение за потрясением, пока это войско фурий не будет, наконец, заключено—отчаянием! Победа! Победа! План готов, трудный и искусный, как никакой другой... верный... безопасный, потому что (насмешливо) нож хирурга не найдет ведь никаких следов раны для раз'едающего яда. (Решительно). Итак, решено! (Входит Герман). А! Deus ex machina! 17, Герман!

Герман. К вашим услугам, господин юнкер!

Франц (подаст ему руку). Ты оказываешь их не неблагодарному.

Герман. Я имею на это доказательства.

Франц. Ты получишь больше со време-

нем... со временем, Герман!.. Мне нужно тебе что-то сказать, Герман.

Г е р м а н. Я весь обратился в слух.

Ф р а н ц. Я знаю тебя, ты человек решительный, у тебя солдатское сердце, ты смел!.. Мой отец сильно оскорбил тебя, Герман!

Г е р м а н. Пусть меня чорт поберет, если я это забуду!

Ф р а н ц. Это слова мужчины. Мщение подобает мужественному сердцу. Ты нравишься мне, Герман. Возьми этот кошелек, Герман. Он был бы тяжелее, если бы я был здесь господином.

Г е р м а н. Это ведь мое неизменное желание, господин юнкер; благодарю вас.

Ф р а н ц. В самом деле, Герман? Ты, действительно, хотел бы, чтобы я был господином? Но мой отец обладает крепостью льва, а я — младший сын.

Г е р м а н. Я желал бы, чтобы вы были старшим сыном, а чтобы ваш отец обладал крепостью чахоточной девушки.

Ф р а н ц. А! И как этот старший сын наградил бы тебя тогда, как он вывел бы тебя на свет из этого низкого состояния, которое так не подходит к твоему уму и благородству! Ты ходил бы весь в золоте и катался бы по улицам на четверке; право, это было бы так!.. Но я и забыл, что хотел тебе сказать... Ты уже забыл фрейлейн фон-Эдельрейх, Герман?

Г е р м а н. Чорт возьми! Зачем вы напоминаете мне об этом?

Ф р а н ц. Мой брат перебил ее у тебя.

Г е р м а н. Он за это поплатится!

Ф р а н ц. Она тебе отказала. Мне кажется даже, что он спустил тебя с лестницы.

Г е р м а н. За это я спущу его за...

Ф р а н ц. Он говорил, что все потихоньку передают друг другу, будто тебя смастерили наскоро, между первым и вторым блюдом, будто отец твой никогда не мог взглянуть на тебя, не ударив себя в грудь и не вздохнув: Боже, милостив буди мне, грешному!

Г е р м а н (в ярости). Проклятие! молчите!

Ф р а н ц. Он советовал тебе продать твою дворянскую грамоту с аукциона и на это заштопать себе чулки.

Г е р м а н. Тысячу чертей! Я ногтями вына-рапаю ему глаза!

Ф р а н ц. Как? Ты сердишься? Как можешь ты на него сердиться? Какое зло можешь ты ему сделать? Что может сделать со львом какая-нибудь крыса? Твой гнев только увеличивает его торжество. Тебе ничего не остается делать, как только скрежетать зубами и вымещать свою ярость на черством хлебе.

Г е р м а н (топает ногой). Я изотру его в порошок!

Ф р а н ц (хлопает его по плечу). Да, Герман, ты благороден. Ты не должен переносить оскорблений. Ты не должен выпускать из рук ба-рышню, нет, этого ты не должен делать ни за что на свете, Герман! Чорт возьми! Я пошел бы на все, если бы был на твоём месте.

Г е р м а н. Я не успокоюсь, пока не убью и того и другого.

Ф р а н ц. Не так бурно, Герман! Подойди ближе... Амалия будет твоей!

Г е р м а н. Она должна быть моей, хотя бы сам чорт был против этого! Она должна быть моей!

Ф р а н ц. Она будет твоей, говорю я тебе, и ты получишь ее из моих рук. Подойди ближе,

говорят тебе—ты, может быть, не знаешь, что Карл почти лишен наследства?

Герман (подходя ближе). Непонятно! Я в первый раз об этом слышу.

Франц. Молчи и слушай дальше! Ты узнаешь об этом больше в другой раз—да, я тебе говорю, что вот уже одиннадцать месяцев он почти изгнан. Но старик уже раскаивается в этом необдуманном шаге, который он, однако (смеется), смею надеяться, сделал не сам. И эта Эдельрейх осыпает его каждый день упреками и жалобами. Пройдет еще некоторое время, и он примется его разыскивать по всем концам света, и если он его найдет—прощай, Герман! Ты можешь почтительно поддержать ему дверцы кареты, когда он поедет с ней в церковь к венцу.

Герман. Я задушу его у распятия!

Франц. Отец скоро уступит ему власть и будет жить на покое в своих замках. Теперь поводья в руках у гордого упряма, теперь он смеется над своими ненавистниками и завистниками, а я, хотевший сделать тебя важным, значительным человеком, я сам, Герман, буду стоять, низко кланяясь, у порога его двери...

Герман (горячо). Нет, не будь я Герман, если так будет! Если у меня в голове есть хоть искорка ума, этого не будет!

Франц. Не ты ли этому помешаешь? И тебе, мой милый Герман, он скоро даст почувствовать свой бич, он плюнет тебе в лицо, когда ты встретишься ему на улице, и горе тебе тогда, если ты пожмешь плечами, или нахмуришься... Видишь, вот что выйдет из твоего сватовства к Амалии, из твоих надежд и планов.

Герман. Скажите мне, что должен я сделать?

Франц. Слушай же, Герман! Чтобы ты видел, что я принимаю твою судьбу к сердцу как истинный друг—иди, переоденься, сделай себя совершенно неузнаваемым, прикажи доложить о себе старику, скажи ему, что ты идешь прямо из Богемии, что ты участвовал вместе с моим братом в сражении под Прагой¹⁸, что ты видел, как он испустил дух на поле битвы...

Герман. Поверят ли мне?

Франц. Ого! Об этом предоставь уж мне позаботиться. Возьми этот пакет. Здесь ты найдешь подробности твоего поручения. И к этому документы, которые должны убедить само воплощенное сомнение. Теперь уходи и постарайся сделать это незаметно. Выйди через заднюю дверь во двор, потом перепрыгни через стену сада... Развязку этой трагикомедии предоставь мне!

Герман. А развязка будет такая: да здравствует новый господин, Франциск фон Моор!

Франц (гладит его по щеке). Какой ты хитрый! Ты видишь, таким образом мы сразу и очень скоро достигаем всех своих целей. Амалия откажется от надежды на него. Старик припишет себе смерть своего сына, и—он уже прихварывает — колеблющееся здание не требует землетрясения, чтобы рухнуть, он не переживет этого известия, и тогда я — его единственный сын, Амалия теряет свою опору и делается игрушкой моей прихоти, и ты легко можешь себе представить... Одним словом, все пойдет по желанию; но ты не должен брать своего слова назад.

Герман. Что вы говорите? (Ликующе.) Скорее пуля обратится вспять в своем полете и по-

разит стрелка в сердце. Рассчитывайте на меня! Позвольте мне только действовать! Прощайте!

Франц (кричит ему вслед). Жатва—твоя, милый Герман! (Один.) Когда вол привезет воз с хлебом в амбар, он может удовольствоваться сеном. Скотницу тебе, а не Амалию! (Уходит.)

Сцена II.

Спальня старика Моора.

Старик Моор спит в кресле. Амалия.

Амалия (проскальзывает тихонько в комнату). Тише, тише! он дремлет (становится перед спящим). Какой он прекрасный, какой почтенный! Такими благообразными пишут святых на иконах—нет, я не могу на тебя сердиться! Седо-кудрая голова, на тебя я не могу сердиться! Почивай мирным сном и радостно проснись! Я буду страдать одна.

Ст. Моор (во сне). Сын мой! сын мой! сын мой!

Амалия (берет его за руку). Слышите, слышите! Он видит сына во сне.

Ст. Моор. Ты здесь? Это действительно ты? Каким ты кажешься несчастным! Не смотри на меня таким печальным взглядом! Я и так уже достаточно несчастлив.

Амалия (будит его). Проснитесь, дорогой старик! Вы грезите. Придите в себя!

Ст. Моор (в полусне). Его здесь не было? Разве я не пожимал его руки? Жестокий Франц! Ты хочешь удалить его даже из моих снов?

Амалия. Ты слышишь, Амалия?

Ст. Моор (просыпается). Где он? где? где я? Ты здесь, Амалия?

Амалия. Как вы себя чувствуете? Вы спали здоровым сном.

Ст. Моор. Я видел во сне моего сына. Почему этот сон не продолжается? Может быть, я получил бы от него прощение.

Амалия. Ангелы не помнят зла; он прощает вас. (Берет его за руку, грустно). Отец моего Карла! Я прощаю вас.

Ст. Моор. Нет, дочь моя! Эта смертельная бледность в твоём лице осуждает отца. Бедная девушка! Я лишил тебя радостей твоей юности... О, не проклинай меня!

Амалия (нежно целует его руку). Вас?

Ст. Моор. Ты знаешь этот портрет, дочь моя?

Амалия. Портрет Карла!

Ст. Моор. Таким он был, когда ему шел шестнадцатый год. Теперь он другой... О, во мне все кипит... Эта кротость обратилась в негодование, эта улыбка — в отчаяние... Не правда ли, Амалия, ты писала его портрет в день его рождения, в жасминной беседке? О, дочь моя! Как я был счастлив вашей любовью!

Амалия (не спуская глаз с портрета). Нет, нет! Это не он! Клянусь Богом, это не Карл... Здесь, здесь (показывает на сердце и лоб), совсем, совсем другой. Краски слишком бледны, чтобы отразить небесный дух, который пылал в его огненных глазах. Прочь этот портрет! Здесь он только человек! Я была плохая художница!

Ст. Моор. Этот полный любви, согревающий взгляд!.. Еслиб он стоял у моей постели, я ожил бы на смертном одре! Никогда, никогда не умер бы я!

Амалия. Вы никогда, никогда не умерли бы? Это был бы быстрый переход, как переходят от одной мысли к другой, более прекрасной. Этот взгляд светил бы вам и по ту сторону гроба. Этот взгляд вознес бы вас к звездам.

Ст. Моор. Как это тяжело, как печально! Я умираю—и здесь нет моего сына Карла; меня похоронят—и он не будет плакать над моим гробом. Как сладко, засыпая последним смертным сном, быть убаюканным молитвой сына. Это колыбельная песня.

Амалия (мечтательно). Да сладко, бесконечно сладко, засыпая последним сном смерти, быть убаюканной пением возлюбленного... может быть, и в гробу еще продолжают грезить—долгие, вечные, бесконечные грезы о Карле, пока не прозвучит труба воскресения (вскакивая, восторженно) и отныне вечно в его объятиях! (Пауза; она идет к фортепиано и играет).

Снова ль Гектор мчится в бурю брани,
Где с булатом в неприступной длани,
Мстительный свирепствует Целид?..
Кто же призрит Гекторова сына,
Кто научит долгу властелина,
Страх к богам в младенце поселит?..

Ст. Моор. Прекрасная песня, дочь моя. Ты должна мне ее сыграть перед смертью.

Амалия. Это—«Прощание Гектора с Андромахой»¹⁹. Мы часто пели ее с Карлом под аккомпанимент лютни (продолжает играть).

Мне ль томиться в ягостном покое?..
Сердце жаждет прохлажденья в бое,
Мести жаждет за Пергам!..
Древняя отцов моих обитель!—

Я паду!.. Но, родины спаситель,
Сниду, весел, к Стиксовым брегам...

(Входит Даниэль).

Даниэль. На дворе ждет человек. Он просит, чтобы его допустили, он говорит, что принес вам важное известие.

Ст. Моор. Для меня важно только одно на свете, ты знаешь это, Амалия... Может быть, это несчастный, который нуждается в моей помощи? Он не должен уйти отсюда, вздыхая.

Амалия. Если это нищий, пусть он поскорее придет сюда. (Даниэль уходит).

Ст. Моор. Амалия, Амалия, пощади меня.
Амалия (продолжает петь).

Суждено ль мне в сих чертогах славы
Видеть меч твой праздный и заржавый?—
Осужден ли весь Приамов род?..
Скоро там, где нет любви и сета,—
Там, где льется сумрачная Лета,
Скоро в ней любовь твоя умрет!..
Все души надежды, все порывы,
Все поглотят воды молчаливы,—
Но не Гектора любовь!..
Слышишь?.. мчатся... пламя пышет боя!..
Час ударил!.. Сын, супруга, Троя!..
Бесконечна Гектора любовь!..

(Франц, Герман—переодетый, Даниэль).

Франц. Вот этот человек. Он говорит, что вас ожидают ужасные вести. Можете ли вы их выслушать?

Ст. Моор. Я знаю только одну. Подойди, мой друг, и не щади меня! Подайте ему кубок вина!

Герман (измененным голосом). Милостивый господин, не гневайтесь на бедного человека, если он против воли поразит вас в сердце. Я чужой в этой стране, но я хорошо вас знаю, вы отец Карла фон Моора.

Ст. Моор. Откуда ты это знаешь?

Герман. Я знал вашего сына...

Амалия (вскакивая). Он жив, жив? Ты знаешь его? Где он, где? (Хочет бежать).

Ст. Моор. Что ты знаешь о моем сыне?

Герман. Он учился в Лейпциге. Оттуда он отправился Бог знает, как далеко. Он исходил всю Германию, и, как он мне говорил, он шел с непокрытой головой, босой, выпрашивая милостыню у дверей. Через пять месяцев после этого жестокая война между Пруссией и Австрией разразилась опять и, так как ему не на что было больше надеяться, звук победоносной трубы Фридриха увлек его в Богемию. Позвольте мне, сказал он великому Шверину, умереть смертью героя, у меня нет более отца!

Ст. Моор. Не смотри на меня, Амалия!

Герман. Ему дали знамя. Он участвовал в прусском победоносном шествии. Нам пришлось спать в одной палатке. Он много говорил о своем старом отце и о лучших прошлых днях... и о погибших надеждах... слезы навертывались нам на глаза.

Ст. Моор (скрывает лицо в подушку). Молчи, о, молчи!

Герман. Через неделю была жаркая битва под Прагой... Могу сказать, что сын ваш держался, как brave воин. Он делал чудеса на глазах войска. Пять полков должны были смениться под ним, он устоял. Ядра падали направо и

налево, ваш сын стоял. Пуля раздробила ему правую руку, он взял знамя в левую и стоял...

Амалия (в восторге). Гектор, Гектор! Вы слышите? Он стоял...

Герман. Я нашел его вечером после битвы, упавшего под свистом пуль; левой рукой он удерживал льющуюся кровь, правая зарылась в землю.—Брат!—крикнул он мне навстречу,—во фронте прошел слух, что генерал час тому назад убит.—«Он убит», сказал я, «а ты как?»—Ну, кто храбрый солдат,—воскликнул он и отнял левую руку,—тот пусть следует за своим генералом, как я!—Вскоре после этого он испустил свой великий дух вслед за героем.

Франц (яростно наступая на Германа). Пусть смерть заставит умолкнуть твой проклятый язык! Ты пришел сюда, чтобы нанести нашему отцу смертельный удар? Батюшка! Амалия! Батюшка!

Герман. Это была последняя воля моего умирающего товарища.—Возьми этот меч,—прохрипел он,—ты передашь его моему старому отцу. Кровь его сына засохла на нем; он отмщен, он может быть доволен. Скажи ему, что его проклятие погнало меня в битву и на смерть, что я умер в отчаянии!—Его последний вздох был—Амалия!

Амалия (как будто пробуждаясь из смертного сна). Его последний вздох—Амалия!

Ст. Моор (с ужасным воплем рвет на себе волосы). Мое проклятие погнало его на смерть! Умер в отчаянии!

Франц (блуждая по комнате). О, что вы сделали, батюшка? Мой Карл, мой брат!

Герман. Вот меч и вот портрет, который он в то же время снял с груди. Он похож на

фрейлейн, как две капли воды.—Это моему брату Францу,—сказал он; я не знаю, что он хотел этим сказать.

Франц (как будто изумленный). Мне? портрет Амалии? Мне, Карл—Амалию? Мне?

Амалия (гневно наступает на Германа). Чувный, подкупленный обманщик! (Резко схватывает его).

Герман. Я не обманщик, фрейлейн. Посмотрите сами, не ваш ли это портрет. Вы, может быть, дали ему это сами.

Франц. Клянусь Богом, Амалия, это твой портрет, действительно твой!

Амалия (отдает ему портрет). Мой, мой! О, небо и земля!

Ст. Моор (с воплем раздирает себе лицо). Горе мне! горе! Мое проклятие погнало его навстречу смерти! Он умер в отчаянии!

Франц. И он вспомнил обо мне в последнюю тяжкую минуту перед смертью! Ангельская душа!.. Когда черная завеса смерти уже опускалась на него—вспомнил обо мне!..

Ст. Моор (заплетающимся языком). Мое проклятие погнало его навстречу смерти, умер мой сын... в отчаянии!

Герман. Этого горя я не выдержу. Прощайте, старый господин! (Тихо Францу). И зачем вы это сделали, юнкер? (Быстро выходит).

Амалия (вскочив, вслед ему). Останься, останься! Какие были его последние слова?

Герман (кричит, оборачиваясь). Его последний вздох был—Амалия! (Уходит).

Амалия. Его последний вздох был—Амалия! Нет, ты не обманщик! Так это правда... правда... он умер! умер! (Шатается и падает). Умер, Карл умер...

Франц. Что я вижу? Что написано на мече? Написано кровью—Амалия!

Амалия. Написано им?

Франц. Действительно я это вижу или мне грезится? Посмотри вот—красными буквами: Франц, не покидай мою Амалию.—Смотри же, смотри—и на другой стороне: Амалия, твою клятву разрушила всемогущая смерть. Видишь теперь, видишь? Он написал это немеющей рукой, написал теплой кровью своего сердца, написал на торжественной границе вечности. Его отлетающий дух замедлил, чтобы соединить Франца и Амалию.

Амалия. Всемогуший Боже! Это его рука... Он никогда не любил меня! (Быстро уходит).

Франц (топая ногой). Проклятие! Все мое искусство разбивается об эту упрямую голову!

Ст. Моор. Увы, увy! Не покидай меня, дочь моя! Франц, Франц, отдай мне моего сына!

Франц. Кто послал ему проклятие? Кто погнал своего сына в битву и на смерть и отчаяние? О, он был ангел, небесное сокровище. Проклятие на его палачей! Проклятие, проклятие на вас самих!

Ст. Моор (бьет себя кулаками в грудь и в лоб). Он был ангел, небесное сокровище! Проклятие, проклятие, гибель, проклятие на мне самом! Я—отец, убивший своего великого сына. Он любил меня до самой смерти! Чтобы я был отмщен, он бросился в битву и на смерть! Чудовище, чудовище! (Грозит себе).

Франц. Он погиб, к чему запоздалые жалобы? (Язвительно смеясь). Легче убить, чем оживить. Вы никогда не вернете его из могилы.

Ст. Моор. Никогда, никогда, никогда не

верну из могилы! Погиб, потеряв навеки!.. И это ты вырвал у меня проклятие, ты, ты... Отдай мне моего сына!

Франц. Не возбуждайте моего гнева. Я оставляю вас, умирайте один.

Ст. Моор. Изверг, изверг! Отдай мне моего сына! (Вскакивает с кресла и хочет схватить Франца за горло, тот его отбрасывает).

Франц. Бессильный олов, и ты осмеливаешься... Умирай, умирай в отчаянии! (Уходит).

Ст. Моор. Да разразятся над тобой тысячи проклятий! Ты украл из моих объятий сына! (В отчаянии мечется в кресле). Увы! увь! Отчаиваться—и не умереть! Они убегают, покидают меня в смерти... мои добрые ангелы бегут от меня, все святые удаляются от седовласого убийцы... О, горе, о, горе! Неужели никто не поддержит мою голову, никто не разрешит мою мятущуюся душу? Нет более сыновей, нет дочери, нет друзей! Люди только... неужели никто?.. Один... покинутый... Увы! увь! Отчаиваться—и не умереть!

(Амалия с заплаканными глазами).

Ст. Моор. Амалия! Посланница неба! Ты пришла освободить мою душу?

Амалия (кратко). Вы потеряли превосходного сына.

Ст. Моор. Убил, хочешь ты сказать. Под тяжестью этого обвинения я выступаю перед судом Божиим.

Амалия. Не говорите так, несчастный старик. Отец Небесный взял его к себе. Мы были бы слишком счастливы в этом мире. Там, там, над солнечным сиянием, мы встретимся опять.

Ст. Моор. Встретимся опять... опять! О.

через мою душу пройдет меч, когда я, праведный, встречу его среди праведных... Среди райского блаженства я буду содрогаться от адской муки! В созерцании бесконечности меня будет сокрушать воспоминание: я убил своего сына!

Амалия. О! Своей улыбкой он изгонит это ужасное воспоминание из вашей души! Будьте же спокойны, дорогой отец! Я спокойна. Разве имя Амалии не прозвучало уже на арфе серафима перед небесными слушателями, и небесные слушатели тихо прошептали его вслед за ним... Его последний вздох был ведь Амалия! Не будет ли также и первый ликующий его возглас—Амалия!

Ст. Моор. Божественное утешение изливается с твоих губ! Он улыбнется мне, говоришь ты? Простит? Ты должна быть при мне, невеста моего Карла, пока я не умру.

Амалия. Умереть—это устремиться в его объятия. Благо вам! Я вам завидую. Зачем эти члены не дряхлы, зачем эти волосы не седь? Горе силам кисти! Добро пожаловать, ты, бессильная старость, лежащая ближе к небу и к моему Карлу!

(Франц входит).

Ст. Моор. Подойди, сын мой! Прости меня, если я был сейчас слишком жесток к тебе. Я прощаю тебе все. Я хотел бы умереть в мире.

Франц. Вы достаточно оплакивали своего сына? Как я вижу, у вас был только он один.

Ст. Моор. У Иакова было двенадцать сыновей, но он оплакивал Иосифа кровавыми слезами.

Франц. Гм...

Ст. Моор. Поди, возьми библию, дочь моя, и прочитай мне историю Иакова и Иосифа!

Она меня всегда трогала, а тогда я еще не был Иаковом.

Амалия. Что же мне вам прочитать? (Берет библию и перелистывает ее).

Ст. Моор. Прочитай мне о скорби покинутого, когда он не нашел его среди своих детей и напрасно ожидал его в кругу остальных одиннадцати—и его жалобу, когда он услышал, что Иосиф, сын его, отнят у него навеки...

Амалия (читает). «Тогда взяли они одежду Иосифа и убили козленка и омочили одежду в крови его и послали эту пеструю одежду домой и велели отнести ее к отцу и сказать: это мы нашли, посмотри, не сына ли твоего эта одежда? (Франц внезапно уходит). Но он узнал ее и сказал: это одежда моего сына, дикий зверь съел его, хищный зверь растерзал Иосифа».

Ст. Моор (падает на подушку). Хищный зверь растерзал Иосифа!

Амалия (читает дальше). «И Иаков разорвал одежды свои и оделся во вретиче и долго горевал о сыне своем; и все его сыновья и дочери пришли, чтобы утешить его; но он не хотел утешиться и говорил: в скорби окончу я дни мои»...

Ст. Моор. Довольно, довольно! Мне очень нехорошо.

Амалия (вскочив, роняет книгу). Боже мой! Что это?

Ст. Моор. Это смерть! Черно... все плывет перед глазами... прошу тебя... позови пастора, пусть он... причастит меня. Где мой сын Франц?

Амалия. Он убежал! Боже, сжался над нами!

Ст. Моор. Убежал... убежал от постели умирающего?.. И это все... все... от двоих детей.

полных надежд... Ты дал их... и Ты взял... Да будет Имя Твое...

Амалия (с внезапным криком). Умер! Все умерло! (В отчаянии уходит).

(Франц вбегает ликуя).

Франц. Умер, кричат они, умер! Теперь я господин. Во всем замке воцарился умер. А что если он только спит? Конечно, о, конечно! Это, наверное, сон, после которого никогда уж не скажут «с добрым утром»... Сон и смерть ведь близнецы. Мы поменяем их имена! Славный, желанный сон! Мы назовем тебя смертью. (Закрывает ему глаза). Кто осмелится теперь потребовать меня к суду? Или сказать мне в лицо: ты мошенник! Прочь теперь эту тягостную маску кротости и добродетели! Теперь вы увидите Франца, как он есть, и ужаснетесь! Отец старался подсластить свои требования, свои владения он превратил в семейный кружок; ласково улыбаясь, сидел он у ворот и называл всех братьями и детьми. Мои брови нависнут над вами, как грозные тучи, мое имя властелина промчится над этими горами, как грозная комета, мое чело будет для вас барометром. Он гладил и ласкал тех, кто упрямо отталкивал его... Гладить и ласкать не по моей части. Я всажу острые шпоры вам в мясо и пушу в дело бич. В своих владениях я доведу дело до того, что картофель и жидкое пиво будут праздничным угощением, и горе тому, кто попадется мне на глаза с полными румяными щеками. Бледность нищеты и рабский страх—вот мои цвета: в эту диврею я вас одену. (Уходит).

Сцена III.

Богемские леса.

Шпигельберг. Рацман. Толпа разбойников.

Рацман. Это ты? Действительно ты? Дай же обнять тебя покрепче, мой милый друг. Морриц! Добро пожаловать в богемские леса! Ты ведь сделался знаменитым и сильным. Чорт возьми! Ты привел с собой целое стадо рекрутов, ты превосходный вербовщик!

Шпигельберг. Смотри, брат, каково? И все отличные ребята! Ты не поверишь—на мне видимо, благословение Божие: был я голодным бедняком, не имел ничего, кроме этого посоха, когда переходил через Иордан²⁰, а теперь нас семьдесят восемь человек, большей частью поревнившие торговцы, выброшенные за борт чиновники и писаря из швабских провинций; это, брат, такие молодцы, я тебе скажу, теплые ребята, из которых каждый готов украсть друг у друга последнюю цуговницу с брюк и чувствует себя в безопасности, только имея заряженное оружие под боком. У них всегда полны руки дела, и они так прославились на сорок миль кругом, что трудно этому поверить. Нет ни одной газеты, где бы ты не встретил статейки о хитреце Шпигельберге, я и держу их у себя только поэтому—меня описали с головы до ног, ты можешь так ясно представить себе меня, как будто ты меня видишь: они не забыли даже моих пуговиц. Но мы их отчаянно дурачим. Отправляюсь я недавно в типографию, заявляю, что видел известного Шпигельберга и диктую какому-то писаке, который там сидел, живой портрет одного из мест-

ных докторов, специалиста по лечению от глоссов; дело пошло в ход, его арестовали, с пристрастием допросили, и от страха и глупости он признается—чорт бы меня побрал!—признается, что он Шпигельберг... Проклятие! я чуть-чуть было не явился к магистрату, чтобы эта каналья не гадил моего имени, а три месяца спустя он был повешен. Мне пришлось потом заткнуть себе нос здоровой порцией табаку, когда я проходил мимо виселицы и увидел лже-Шпигельберга, красующегося там во всем блеске. И пока Шпигельберг висит, Шпигельберг вынуждается тихонько из сетей и показывает премудрому правосудию ослиные уши за спиной, так что просто жалость берет.

Рацман (смеется). Ты все тот же.

Шпигельберг. Тот же, как видишь, и телом и душой! Да! я должен тебе рассказать еще одну штуку, которую я проделал в монастыре Цецилии. Монастырь попался мне на пути, так около сумерек, и так как в этот день я не истратил еще ни одного патрона, а ты знаешь, что я смертельно ненавижу *diem perdidit*²¹, то по крайней мере ночь должна была быть прославлена какой-нибудь проделкой, хотя бы это даже стоило дьяволу одного из его ушей! Мы смиренно сидим до глубокой ночи. Наступает полная тишина. Огни тухнут. Мы предполагаем, что монахини должны быть теперь в постелях. Тогда я беру с собой своего товарища Гримма, приказываю другим ждать у ворот, пока они не услышат моего свистка, схватываю привратника, отбираю у него ключи, пробираюсь туда, где спали служанки, утаскиваю у них платья и с этим узлом—в ворота. Потом мы идем из кельи в келью, берем платья у одной сестры за другой

и, наконец, у настоятельницы... Затем я свистнул—мои молодцы подняли за воротами такой шум и гвалт, как будто наступило светопреставление, и с адским грохотом ворвались в келью монахинь! Ха-ха-ха! Если бы ты видел эту травлю, как бедняжки хватались впотьмах за платье и приходили в отчаяние, не находя ничего, а мы в это время налетели, как гроза, и как они от ужаса и смущения заворачивались в простыни и заползали, как кошки, под печи, и эти отчаянные вопли и жалобы, и, наконец, еще старая ведьма-игуменья—ты знаешь, брат, что для меня на всем земном шаре нет создания противнее паука и старой бабы,—и вот, представь себе, эта черная, как уголь, морщинистая старая карга начинает вертеться около меня и заклинять меня своей девственной невинностью—тысяча чертей! Я уже наставил было локоть, чтобы выбить у нее последние зубы... Без дальних церемоний, или подавай сюда сейчас же всю серебряную утварь, монастырскую казну, все светлые талеры, или—мои молодцы меня уже поняли... Одним словом, я содрал с монастыря больше тысячи талеров, да еще сверх того позабылся, а мои молодцы оставили им воспоминание, которое им придется таскать добрых девять месяцев.

Рацман (топая ногой). Чорт возьми, и меня там не было!

Шпигельберг. Видишь? Разве это не жизнь? И при этом остаешься свежим и бодрым, и тело крепнет и толстеет, как живот прелата *)... Я не знаю, во мне, должно быть, есть что-

* Прелат—общее название высшего католического духовенства.

то магическое, что притягивает ко мне всякий сброд со всего Божьего мира, как сталь или железо.

Рацман. Хорош магнит, нечего сказать! Но все-таки мне чертовски хочется знать, какое ты употребляешь колдовство...

Шпигельберг. Колдовство? Никакого колдовства не нужно—надо иметь голову на плечах! Известную практическую сноровку, которую, конечно, не ветром наносит; потому что, видишь ли, я всегда говорю: честного человека можно создать из всякого чурбана, но для мошенника нужен материал... нужен тоже и особенный, национальный гений, известного рода мошенническая атмосфера, если можно так сказать, и потому я советую тебе отправиться в Граубинден—это Афины для нынешних мошенников **.

Рацман. Брат! Мне в этом отношении рекомендовали Италию.

Шпигельберг. Да, да! Каждому надо воздавать должное, и Италия может похвастаться своими людьми, а если Германия будет так продолжать, как она уже начала, и совершенно выведет из употребления Библию, на что уже имеются блестящие надежды, то и из Германии еще может выйти что-нибудь путное, но, вообще, должен тебе сказать, климат не особенно много значит, гений преуспевает везде, ну, а остальное, брат... знаешь, дикое яблоко и в раю никогда не сделается ананасом... но я буду продолжать—на чем я остановился?

Рацман. На сноровке!

Шпигельберг. Да так, на сноровке. Первым делом, когда ты приезжаешь в город, ты собираешь сведения у зрителей за нищими, у

городовых и блюстителей порядка, кто усерднее всех посещает, кто оказывает им почтение, и этих молодцов ты должен разыскать; потом свей себе гнездышко в кофейнях, публичных домах, трактирах, высматривай, отслеживай, кто громче всех кричит о дешевых временах, о пяти процентах, о все усиливающейся чуме полицейских мер, кто больше всех бранит правительство и восстает против физиогномики *) и тому подобное. Да, брат, это верх искусства! Честность качается, как полый зуб, тебе нужно только наложить шипцы... Или еще лучше и короче: ты идешь и бросаешь полный кошелек среди улицы, прячешься где-нибудь и следишь за тем, кто его поднимает... немного погодя, ты пускаешься вслед, ищешь, кричишь и спрашиваешь, так, мимоходом: милостивый государь, не находили ли вы кошелек? Скажет он да, ну тогда чорт с ним; если же он начнет отрезываться: извините, милостивый государь, я не видал, мне очень жаль... (Вскакивая). Брат! победа, брат! Гаси свой фонарь, лукавый Диоген! **). Ты нашел человека.

Рацман. Ты искусный практик.

Шпигельберг. Бог мой! Как будто в когда-нибудь в этом сомневался... Теперь, когда человек попался тебе на удочку, ты должен непременно взяться за дело, чтобы его вытащить. Видишь ли, сын мой! Это я делал так: как только я нападал на след, я привязывался к

*) Физиогномика — наука о связи между чертами лица и душевными качествами, которой особенно увлекались в Германии в XVIII в.

**) Диоген — древне-греческий философ (V в. до Р. Х.). О нем существует множество анекдотов, изображающих его невольную гордость, остроумие и презрение к славе.

своему кандидату, как репей, пил с ним брудершафт и — заметь! — ты должен поить его на свой счет! Конечно, это обходится недешево; но на это не обращай внимания... Ты идешь далее, ты вводишь его в компанию игроков и распутных людей, запутываешь его в драки и плутни, пока не выжмешь из него все соки и пока он не потеряет и силы, и деньги, и совесть, и доброе имя — потому что, должен тебе сказать, между прочим, ты не достигнешь ничего, если не погубишь и душу и тело — поверь мне, брат, в моей обширной практике раз пятьдесят я приходил к выводу, что стоит честного человека вытолкнуть из колеи, и он делается рабом дьявола... переход тогда так легок, о, так легок, как переход от публичной женщины к ханже... Слушай! Что это за треск?

Рацман. Гром прогремел; продолжай же!

Шпигельберг. Есть еще другой путь, короче и лучше: оберни человека до последней нитки, тогда он сам к тебе явится... Этим шулкам меня, брат, учить нечего... Спроси-ка вот того краснолицого — я ловко поймал его в сети! Я предложил ему сорок дукатов, которые он должен был получить, если снимет восковые слепки с ключей своего господина, и — представь себе! — глупец сделал это, принес мне ключи, клянусь всеми чертями! и хотел получить деньги. «Мосье», сказал я, «знаете ли вы, что теперь я отправлюсь с этими ключами прямо в полицию и найму вам помещение на виселице?» Тысячу проклятий! Если бы ты видел, как этот молодец вытаращил глаза и начал дрожать, как мокрый пудель! «Ради всего святого, пощадите меня, барин! я буду... буду...» «Что вы будете? Хотите сейчас же собраться в путь и идти со мной к

чорту?» «О да, охотно, с радостью»... Ха-ха-ха!.. Да, бедняга, мышей ловят салом... Смейся же над ним, Рацман!.. ха-ха-ха!

Р а ц м а н. Да, да, должен признаться... Эту лекцию я запишу себе в голове золотыми буквами. Сатана хорошо знает своих людей, если сделал тебя своим маклером.

Ш п и г е л ь б е р г. Видишь, брат? И я думаю, если я поставлю ему десятерых, он оставит меня на свободе. Ведь каждый издатель дает своим покупателям десятый экземпляр даром, почему же дьявол должен поступать по-жидовски? Рацман, я слышу запах пороха!

Р а ц м а н. Чорт возьми! Я уже давно его слышу. Будь осторожен, вблизи что-нибудь происходит! Да, да! говорю тебе, Мориц, ты с твоими рекрутами будешь очень кстати для атамана—он подобрал тоже бравых молодцов.

Ш п и г е л ь б е р г. Но мой! мой... Фа!..

Р а ц м а н. Ну да! Они, может быть, и ловки в воровстве, но говорю тебе, слава нашего атамана ввела в искушение и честных людей.

Ш п и г е л ь б е р г. Надеюсь, что нет.

Р а ц м а н. Кроме шуток! И они не стыдятся служить под его начальством. Он убивает не ради грабежа, как мы: о деньгах он, кажется, совсем не заботится с тех пор, как может иметь их, сколько угодно, и даже ту треть добычи, которая принадлежит ему по праву, он раздает сиротам или платит за ученье бедных юношей, подающих надежды. Но если ему приходится пускать кровь помещику, который дерет шкуру со своих крестьян, или захватить негодяя с золотым шитьем, который искажает законы и подкупает правосудие, или еще какого-нибудь господчика из этой шайки, тогда он в своей сти-

хии и распоряжается с дьявольскою жестокостью, как будто каждая жилка в нем превращается в фурию.

Ш п и г е л ь б е р г. Гм... гм...

Р а ц м а н. Недавно мы узнали в трактире, что из Регенсбурга должен проехать богатый граф, который выиграл миллионный процесс, благодаря плутням своего адвоката. Он как раз сидел за столом и обедал.—«Сколько нас?» спросил он меня, поспешно вставая; я видел, что он закусил нижнюю губу, а это он делает только тогда, когда сильно рассердится. «Человек пять, не больше», сказал я. «Этого достаточно», ответил он, бросил хозяйке деньги на стол, оставил нетронутым вино, которое приказал подать, и мы отправились в путь. Все время он не говорил ни слова, шел в стороне, один, и только спрашивал нас время от времени, не слышим ли мы чего, и приказывал приложить ухо к земле. Наконец, под'езжает граф в тяжело нагруженном экипаже, адвокат сидел рядом с ним, впереди—верховой, по сторонам двое слуг, тоже верхом. Если бы ты видел атамана, как он с двумя пистолетами в руках бросился первый к экипажу! И каким голосом он крикнул: «стой!» Кучер, который не хотел остановиться, слетел с козел, граф выстрелил из экипажа в воздух, верховые ускакали. «Твои деньги, каналья!» загремел он, а тот лежал, как бык под топором. «Это ты, негодяй, обращаешь правосудие в продажную девушку?» Адвокат дрожал, так что зубы шелкали, кинжал воткнулся ему в живот, как кол в виноградник... «Я сделал свое дело!» крикнул атаман и гордо отвернулся от нас; «грабеж—ваше дело». И с этим исчез в лесу...

Ш п и г е л ь б е р г. Гм!.. гм! Брат, пусть то,

что я рассказывал тебе раньше, остается между нами, ему незачем это знать. Понимаешь?

Р а ц м а н. Хорошо, хорошо, понимаю.

Ш п и г е л ь б е р г. Ты ведь его знаешь. У него свои фантазии. Ты понимаешь меня.

Р а ц м а н. Я понимаю, понимаю.

(Шварц вбегают).

Р а ц м а н. Кто это? Что случилось? Проезжие в лесу?

Ш в а р ц. Скорее, скорее! Где другие? Тысяча чертей! Вы тут стоите и болтаете! Разве вы не знаете... разве вы ничего не знаете? Роллер...

Р а ц м а н. Что такое? Что такое?

Ш в а р ц. Роллер повешен, и с ним четверо других...

Р а ц м а н. Роллер? Проклятие! Когда—откуда ты это знаешь?

Ш в а р ц. Он сидит уже более трех недель, а мы ничего не знаем; его уже три раза подвергали допросу, а мы ничего не слышим; его под пыткой допрашивали, где атаман. Славный малый ни в чем не сознался; вчера ему объявили приговор, а сегодня утром он с экстренной почтой отправился к чорту.

Р а ц м а н. Проклятие! Знает об этом атаман?

Ш в а р ц. Он узнал об этом только вчера. Он взбешен, как дикий вепрь. Ты знаешь, он всегда ценил Роллера выше всех, а тут еще пытка... Веревки и лестницы были уже принесены к башне, ничего не вышло; он сам пробрался к нему в рясе капуцина *) и хотел поменаться с ним

*) Капуцин—католический монах.

платьем; Роллер отказался наотрез; теперь он поклялся такой клятвой, от которой мороз подрагивал по коже, что он зажжет ему похоронный факел, какого не зажигали ни одному королю, и этот факел сожжет им спину до костей. Мне страшно за город. Он давно уже точит на него зубы за его позорное ханжество, а ты знаешь, когда он говорит: я это сделаю! Это все равно, как будто кто-нибудь из нас это уже сделал.

Р а ц м а н. Это правда. Я знаю атамана. Если бы он дал чорту слово отправиться в ад, он не стал бы молиться, если бы даже мог получить блаженство за половину Отче наш! Но, ах! бедный Роллер!.. бедный Роллер!..

Ш п и г е л ь б е р г. Memento mori! Но это меня не трогает. (Напевает песенку)

Я мыслю, если ненароком

Наткнушь на виселицу я:

Ты, брат, висишь здесь одиноко—

Кто ж в дураках, ты или я?

Р а ц м а н (вскакивает). Чу! выстрел. (Выстрел и шум).

Ш п и г е л ь б е р г. Еще один!

Р а ц м а н. Опять! Это атаман!

(За сценой поют).

Нюренбергцам нас повесить

Не придется никогда!

(Да саро).

Ш в е й ц е р, Р о л л е р (за сценой). Голла! го-го-го!

Р а ц м а н. Роллер! Роллер! Чтобы десять чертей меня взяли!

Швейцер, Роллер (за сценой). Рацман! Шварц! Шпигельберг! Рацман!

Рацман. Роллер! Швейцер! Гром и молнии! (Бегут ему навстречу).

(Разбойник Моор верхом).

(Швейцер, Роллер, Гримм, Шуфтерле, толпа разбойников входят в грязь и пыль).

Разб. Моор (спрыгивая с лошади). Свобода! свобода! Ты в безопасности, Роллер! Отведи моего коня, Швейцер, и вымой его вином. (Бросается на землю). Да, жаркое было дело!

Рацман (Роллеру). Ну, клянусь горном Плутона *)! Ты воскрес после колесования?

Шварц. Ты его дух? Или я с ума сошел? Или это действительно ты?

Роллер (с трудом переводя дух). Это я. Жив. Здоров. Как ты думаешь, откуда я?

Шварц. Об этом спроси ведьму. Над тобой уж крест поставили.

Роллер. Так оно и было, конечно, и более того. Я являюсь прямо с виселицы. Дай мне только сначала отдышаться. Швейцер тебе расскажет. Дайте мне стакан водки! И ты опять тут, Мориц? Я думал, что увижусь с тобой в другом месте... Дайте же мне стакан водки! У меня все кости ноют—о, мой атаман! Где мой атаман?

Шварц. Сейчас, сейчас! Так говори же, рассказывай же! Как ты спасся? Как ты опять с нами? У меня голова идет кругом! С виселицы, говоришь ты?

Роллер (выпивает бутылку водки). А! как хорошо, как жжет! Прямой дорогой с виселицы,

* Плуто́н—древний, мифологический бог ада.

говорю я. Вы стоите и глазете и не можете себе этого представить, я был только в трех шагах от проклятой лестницы, по которой я должен был сойти в лоно Авраама — так близко, так близко—я был уже запродаан в анатомический театр с кожей и волосами! Ты мог бы купить мою жизнь за понюшку табаку. Атаману я обязан воздухом, свободой и жизнью.

Швейцер. Это была штука, о которой стоит послушать. За день до этого мы получили весть от наших шпионов, что Роллеру плохо приходится и что если небо во-время не вступится, то завтра днем—это было бы значит сегодня—он отправится туда, куда должны идти все смертные... «Подымайся, говорит атаман, чего не стоит друг? Спасем мы его или нет, но, по крайней мере, мы зажжем ему погребальный факел, какого не было ни у кого из королей, и пусть он прожжет их до костей». Собирается вся шайка. Мы послали к нему нарочного с записочкой, которую тот бросил ему в суп.

Роллер. Я не надеялся на успех.

Швейцер. Мы дождались, пока улицы опустели. Весь город стремился на это зрелище, конные и пешие попеременно с экипажами, и шум, и пение псалмов раздавались издалека. «Теперь,—сказал атаман,—зажигайте! зажигайте!» Молодцы летали, как стрелы, подожгли город сразу в тридцати трех местах, подбросили фитили к пороховому погребу, в церкви и амбары... Чорт возьми! Не прошло и четверти часа, как северо-восточный ветер, который, вероятно, также имел что-нибудь против города, явился нам на помощь и раздул пламя до гребня крыши. Мы, между тем, носились, как фурии, взад и вперед по улицам и

кричали: «пожар! пожар!» По всему городу—вой, крик, шум, начинают бить в набат, пороховой погреб взрывается с треском, как будто земля треснула пополам и небо разорвалось, а ад провалился на несколько десятков тысяч саженей глубже.

Р о л л е р. Тут и мои конвойные обернулись, город рушился, как Содом и Гоморра, весь горизонт был охвачен огнем и пороховым дымом, в сорока горах кругом отдавалось это адское потрясение, панический ужас бросил всех на землю. Я пользуюсь этой минутой и быстро, как ветер—я был развязан, так близко было уже к концу—пока мои провожатые смотрят назад, окаменевают, как жена Лота, прорываюсь сквозь толпу и пускаюсь на утек! Отбежав шагов шестьдесят, сбрасываю платье, кидаюсь в реку и плыву под водой, пока, по моим расчетам, они не потеряли меня из виду. Мой агаман стоял уже наготове с лошадьми и одеждой—и вот я спасся. Моор! Моор! поскорее бы ты попал в такую же беду, чтобы я мог отплатить тебе тем же!

Р а ц м а н. Скотское желание, за которое тебе следовало бы повесить. Но от этой шутки можно допустить со смеху.

Р о л л е р. Это была помощь в нужде, вы не можете этого оценить. Если бы вам пришлось, с веревкой на шее, заживо отправиться в могилу, как мне, и видеть все эти проклятые приготовления и дьявольские церемонии и с каждым шагом, который оробевшая нога, дрожь, делает вперед, подходить все ближе и ближе к проклятой машине, возвышающейся в блеске безжалостного утреннего солнца, и эти ожидающие палачи, и эта ужасная музыка,—она еще звучит у меня в ушах—и карканье голодных воронов,

которые десятками сидели на моем полусгнившем предшественнике—все это... и сверх всего еще предвкушение того блаженства, которое было мне приуготовано!.. Брат, брат! И вдруг—призыв к свободе! Это был оглушительный выстрел, как будто на небесной бочке лопнул обруч... Слушайте, канальи! я вам говорю—если из раскаленной печи прыгнуть в ледяную воду, переход нельзя почувствовать сильнее, чем почувствовал его я, когда очутился на другом берегу.

Ш и н г е л ь б е р г (смеется). Бедняга! Ну, теперь ведь все это миновало. (Пьет за его здоровье). За счастливое возрождение!

Р о л л е р (бросает стакан). Нет, клянусь всеми сокровищами Маммона! *) я не хотел бы этого пережить во второй раз. Смерть—это что-то большее, чем прыжок арлекина, а страх смерти хуже, чем сама смерть.

Ш и н г е л ь б е р г. А взорвавшийся пороховой погреб—ты теперь понимаешь, Рацман? Потому-то так и воняло серой в воздухе на несколько миль кругом, как будто под небесным сводом проветривали весь гардероб Молоха **). Это была мастерская штука, атаман! Я завидую тебе.

Ш в е й ц е р. Если город устраивает себе развлечение, любясь, как моего товарища убивают, как затравленную свинью, то почему же, черт возьми, запретит нам совесть погубить город из любви к товарищу? И, кроме того, наши

*) Маммон—древнее божество богатства. В переносном смысле—вообще богатство.

**) Молох—древнее финикийское божество, которому приносились человеческие жертвы. Отсюда—символ жестокой, губящей силы.

товарищи поживились еще кое-чем за счет короля... Скажите-ка, что вы стащили?

Один из шайки. Во время суматохи я пробрался в церковь Стефана и отрезал кайму на престольного покровы; Господь Бог, подумал я, богат и может ведь сделать золотые нити из грешовой веревки.

Швейцер. Ты хорошо сделал, к чему это тряпье в церкви? Они приносят это Творцу, который смеется над этой ветошью, а его создания должны умирать с голоду. А ты, Шпангелер, где ты расставил сети?

Второй. Мы с Бюгелем ограбили лавку и захватили материи для наших, человек на пятьдесят.

Третий. Я стянул пару золотых часов и дюжину серебряных ложек.

Швейцер. Хорошо, хорошо. И мы устроили им такой костер, что им придется две недели его тушить. Если они захотят остановить огонь, они должны будут потопить город. Ты не знаешь, Шуфтерле, сколько народу погибло?

Шуфтерле. Говорят, восемьдесят три человека. Один пороховой погреб уничтожил в прах шестьдесят человек.

Разбойник. Моор (очень серьезно). Ты дорого стоишь, Роллер.

Шуфтерле. Вот еще! Что за важность? Если бы еще это были мужчины, а то ведь это грудные ребята, которые золотят свои пеленки, нежные маменьки, оберегавшие их от мух, высушенные калеки, которые не могли найти дверей, пациенты, с воем звавшие своего доктора, который важно шествовал к месту травли — все, что могло двигаться, побежало на зрелище, и только подонки города остались стережь дома.

Моор. О, бедные создания! Больные, говоришь ты, старики и дети?

Шуфтерле. Да, чорт возьми! И еще родильницы и беременные женщины, которые боялись выкинуть прямо перед виселицей, молодые женщины, которые не хотели смотреть на это живодечество, чтобы в утробе матери не выжечь виселицу на спине ребенка; бедные поэты, у которых не было обуви, потому что свою единственную пару сапог они отдали в починку, и всякий сброд; не стоит об этом говорить. Иду я сейчас мимо одной такой лачуги и слышу плач, заглядываю туда и, оглядевшись при свете, нахожу — что бы вы думали? — ребенка, еще живого и здорового; он лежал под столом, а стол как раз загорался. Бедный зверек! сказал я, ты ведь здесь замерзнешь, и бросил его в огонь...

Моор. В самом деле, Шуфтерле? И пусть это пламя горит в твоей груди, пока поседает вечность! Прочь, чудовище! Чтоб я не видал тебя больше в своей шайке? Вы ропщете? Рассуждаете? Кто рассуждает, когда я приказываю? Прочь его, говорю я... Есть еще и другие между вами, которые заслуживают моего гнева. Я знаю тебя, Шпигельберг. Но скоро я приду к вам и сделаю вам страшный смотр.

(Разбойники уходят дрожа).

Моор (один, гневно ходит взад и вперед). Не слушай их, Мститель Небесный! Разве я виноват? Разве Ты виноват, если твои казни, — мор, голод, потопа, — вместе с злодеями пожирают праведных? Кто может приказывать пламени, чтобы оно не свирепствовало на благословенных полях, когда оно должно уничтожить гнездо черной? О, какой позор — убийство детей!

убийство женщины! убийство больных! Как меня угнетает этот поступок! Он отравил мне мои лучшие дела... Вот стоит мальчик, красивый от стыда, осмеянный пред лицом неба: он осмелился играть палицей Юпитера и побеждал пигмеев, тогда как должен был сокрушать титанов... Нет, уходи! Ты не можешь управлять мечом мщения Высшего Судии, ты пал при первом ударе... Вот я отрекаюсь от твоего дерзкого плана, пойду и спрячусь в каком-нибудь ущелье, где день бежит от моего позора. (Хочет бежать).

Разбойники (торопливо). Берегись, атаман: дело неладно! Целые эскадроны богемской конницы разезжают по лесу — чортов доносчик, должно быть, выдал нас...

Другие разбойники. Атаман, атаман! Они напали на наш след, их несколько тысяч, они оцепляют середину леса.

Еще разбойники. Увы, беда, беда! Мы пойманы, мы колесованы, нас четвертуют! Несколько тысяч гусар, драгун и егерей скачут по холму и занимают выходы.

(Моор уходит).

Швейцар, Гримм, Роллер, Шаару, Шуфтерле, Шингельберг, Рауман. Толпа разбойников.

Швейцар. Видно мы таки подняли их с постели! Радуйся же, Роллер! Мне уже давно хотелось сразиться с этими поднезольными рыцарями. Где атаман? Все ли в сборе? Довольно ли у нас пороху?

Рауман. Пороху сколько угодно. Но нас всего-на-всего восемьдесят, так что на каждого из нас приходится, по крайней мере, человек двадцать.

Швейцар. Тем лучше! Пусть их будет

хоть пятьдесят против моего большого ногтя... Ведь ждали же они до тех пор, пока мы не зажгли солому у них под задом... Эх, братцы! Это не беда! Они жертвуют жизнью за десять крейцеров, а мы ведь боремся за жизнь и свободу! Мы опрокинемся на них с силою потопа, разразимся над их головами громом и молнией... Но где же, чорт возьми, атаман?

Шингельберг. Он покидает нас в нужде. Разве мы не можем больше ускользнуть?

Швейцар. Ускользнуть?

Шингельберг. О, зачем я не остался в Иерусалиме?

Швейцар. Хотел бы я, чтобы ты задохся в клоаке, навозная ты душа! У голых монахинь ты был очень храбр; а теперь, как увидал два кулака, так оказался трусливой бабой! Держись теперь, а не то мы зашьем тебя в свиную кожу и затравим собаками.

Рауман. Атаман, атаман!

(Моор, медленно, разговаривая сам с собой).

Моор. Я дал окружить их со всех сторон, теперь они должны отчаянно бороться. (Громко). Ребята, стоим за себя! Мы погибли, если не будем драться, как подстреленные вевери.

Швейцар. Га! я когтями распорю им животы, так что кишки у них выскочат на целый аршин!.. Веди нас, атаман! Мы пойдем за тобой даже на верную смерть.

Моор. Зарядите все ружья! В порохе ведь нет недостатка?

Швейцар (вскрикивает). Пороху достаточно, чтобы взорвать землю и отправить ее на луну!

Р а ц м а н. У каждого заряжено по пяти пар пистолетов и, кроме того, по три винтовки.

М о о р. Хорошо, хорошо! Пусть часть из них влезет на деревья или спрячется в чаще и стреляет из засады...

Ш в е й ц е р. Это по твоей части, Шпигельберг!

М о о р. Мы же, остальные, бросимся на них, как фурии, с обоих флангов.

Ш в е й ц е р. И я с ними, и я!

М о о р. В то же время все должны свистеть, рассыпавшись по лесу, чтобы наши силы казались им более грозными; надо спустить всех солибак и натравить их на шеренги, чтобы они разделились, рассеялись и попали под ваши выстрелы. Мы трое, Роллер, Швейцер и я, будем сражаться там, где самая жаркая схватка.

Ш в е й ц е р. Чудесно, великолепно! Мы так на них опрокинемся, что они не будут знать, откуда на них сыплются пощечины. Я, бывало, попадал в вишню, которую держали у самых губ... Пусть они только покажутся!

(Шуфтерле дергает Швейцера, этот отводит атамана в сторону и тихо говорит с ним).

М о о р. Молчи!

Ш в е й ц е р. Прошу тебя...

М о о р. Довольно! Пусть он благодарит свой позор, он спас его. Он не должен умереть, если умрем я, и мой Швейцер, и мой Роллер. Вели ему снять платье, и я скажу, что это путешественник, которого я ограбил. Будь спокоен, Швейцер! Я готов прицелиться, что он еще будет повешен!

(Патер уходит).

П а т е р (про себя, с удивлением)... Так вот оно, это гнездо дракона?... С вашего позволения,

господа! Я, служитель церкви, и там, за мной, стоят до тысячи семисот человек, которые охраняют каждый волос на моей голове.

Ш в е й ц е р. Bravo! bravo! Это хорошо сказано, чтобы сохранить желудок в тепле.

М о о р. Молчи, товарищ! Скажите коротко, господин патер, что вам здесь нужно?

П а т е р. Меня послало высшее начальство, в руках которого жизнь и смерть, а вы, воры... вы, поджигатели... мошенники... ядовитое порождение ехидны, которое пресмыкается во тьме и жалит исподтишка, поношение человечества, адское отродье, драгоценная пища для воронов и гадов, достойные виселицы и колеса...

Ш в е й ц е р. Собака! Перестань ругаться, или... *(приставляет приклад к его лицу).*

М о о р. Стыдись, Швейцер! Ты сбиваешь его с толку, он так хорошо выучил наизусть свою проповедь... Ну, продолжайте, господин патер!.. «достойные виселицы и колеса»...

П а т е р. И ты, лукавый атаман! Герцог карманников! Король мазуриков! Великий могол всех мошенников вселенной! Совершенно подобный тому первому отвратительному мятежнику, который воспламенил огнем возмущения тысячи легионов невинных ангелов и увлек их с собой в глубокую бездну проклятия... отчаянный вопль покинутых матерей следует за тобой по пятам, ты пьешь кровь, как воду, люди весят на твоём убийственном кинжале меньше, чем воздушный пузырь...

М о о р. Совершенно верно, совершенно верно! Дальше!

П а т е р. Как? Совершенно верно, совершенно верно? Да разве это ответ?

М о о р. Что, господин патер? К этому вы,

вероятно, не приготовились? Ну дальше, дальше! Что вы хотели сказать еще?

П а т е р (с жаром). Ужасный человек, отойди от меня! Разве кровь убитого имперского графа не прилипла к твоим проклятым пальцам? Разве ты не взломал Святилище Господне своими воровскими руками и не унес священных сосудов для причастия? Как? Разве ты не предал пожарам наш богобоязненный город? Разве не опрокинул пороховой погреб на головы добрых христиан? (Всплеснув руками). Ужасающие, ужасающие преступления, которые волнют к небу и призывают Страшный Суд, чтобы он скорее наступил! Время возмездия близко, скоро пробудит последняя труба!

М о о р. До сих пор превосходно сказано! Но к делу! Что желает сообщить мне через вас до-стохвальный магистрат?

П а т е р. То, что ты недостойн выслушать... Оглянись, поджигатель! Все, что ты можешь оки-нуть взглядом, все это занято нашей конницей—здесь нет более возможности убежать, и как вер-но то, что вишни не растут на этих дубах, а эти ели не приносят персиков, так же верно и то, что вы не выйдете невредимыми из этих дубов и елей.

М о о р. Ты слышишь, Швейцер?... Но про-должайте дальше!

П а т е р. Слушай же, как милостиво, как снисходительно поступает с тобой правосудие, злодей! Если ты сейчас покорнись и будешь молить о милости и пощаде, смотри, тогда сама строгость превратится в сострадание, а правосу-дие—в любящую мать, оно закроет глаза на половину твоих преступлений и ограничится

подумай только!—ограничится только колесо-ванием.

Ш в е й ц е р. Ты слышал, атаман? Не по-дойти ли мне и не сдвинуть ли глотку этой дрес-сированной овчарке, чтобы красный сок брызнул из всех пор?

Р о л л е р. Атаман!.. Гром и молния! Ата-ман!.. Как он кусает губы! Не перевернуть ли мне этого молодца вверх ногами и не водрузить ли его, как кеглю, под небесным сводом?

Ш в е й ц е р. Мне, мне! На коленях прошу тебя, кланяюсь тебе земно—мне предоставь это наслаждение истереть его в порошок! (Патер кричит).

М о о р. Прочь от него! Не смейте никто его трогать! (Патеру, обнажая шпагу). Смотрите, господин патер! Здесь стоят семьдесят девять человек, над которыми я атаман, и никто не уме-ет ни бежать по мановению или приказанию, ни танцевать под музыку пушек, а там стоит тыся-ча семьсот, посевших под ружьем, но слушай-те же теперь! Так говорит Моор, атаман-поджи-гатель: правда, я убил имперского графа, сжег и ограбил доминиканскую церковь, опустошил пожаром полный ханжества город и обрушил пороховой погреб на головы добрых христиан, но это еще не все. Я сделал еще больше. (Протя-гивает правую руку). Вы видите эти четыре дра-гоценные кольца, которые я ношу на пальцах? Идите и передайте по пунктам господам судьям, в руках которых жизнь и смерть, все то, что вы увидите и услышите: этот рубин я снял с паль-ца министра, которого я положил во время охо-ты к ногам его государя. Он вышел из ничтоже-ства и лестью достиг места первого любимца, падение его соседа было первой ступенью к его

возвышению—слезы сирот вознесли его. Этот брильянт я снял с советника финансов, который продавал просителям почетные места и должности и гнал от своих дверей огорченных патриотов. Этот агат я ношу в воспоминание об одном попе, вашего же разбора, которого я задушил собственными руками за то, что он публично, с кафедры, выражал свое сожаление о гибели инквизиции... Я мог бы рассказать вам еще несколько историй о моих кольцах, если бы не жалел и о тех немногих словах, которые я с вами потратил...

П а т е р. О, фараон! фараон!

М о о р. Вы слышите? Вы заметили этот вздох? Разве не стоит он тут, как будто хочет призвать огонь с неба на шайку нечестивых, осуждает одним пожатием плеч, проклинает одним христианским вздохом! Неужели человек может быть так слеп? Он, у которого сто глаз Аргуса *), чтобы высмотреть все недостатки брата своего, может ли он быть совершенно слепым по отношению к себе? Они громко проповедуют с своих облаков о кротости и терпении и приносят Богу любви человеческие жертвы, как Молоху с раскаленными руками... проповедуют о любви к ближнему и с проклятием прогоняют от своих дверей восьмидесятилетнего слепца! Ополчаются против скупости и из-за золотых пряжек опустошили Перу **) и запрягли язычников, как рабочий скот, в свои повозки... Они ломают себе голову, как могло случиться, что природа произвела Искарюта, а между тем и не самые худ-

*) Аргус—по греческому преданию многоглазый великан, назначенный стражем девушки Ио, которую преследовал своим любовью Зевс.

**) Перу—страна — Южной Америке, богатая золотом.

шие из них продали бы Троицкого Бога за десять сребренников... О, вы, фарисеи, искажители истины, вы, обезьяны Божества! Вы не боитесь склонять колени перед крестом и алтарями, вы бичуете спину ремнями и умерщвляете плоть постом; вы воображаете, что этим жалким флигельством вы обморочите Того, Кого вы, глупцы, сами называете Всеведущим, как будто имеете дело с великими мира, над которыми самая горькая насмешка, когда их уверяют, лстя, что они ненавидят льстецов; вы чванитесь честностью и примерным поведением, а Бог, который видит ваше сердце прогневался бы на Творца, если бы Он не был именно Тот, Кто создал нильское чудовище. Уберите его с глаз моих!

П а т е р. Чтобы злодей мог быть таким гордым!..

М о о р. Этого не достаточно—теперь я буду говорить гордо. Ступай и скажи достохвальному суду, который распоряжается жизнью и смертью: я не вор, вступающий в договор со сном и полночью и хвастающийся воровством; что я сделал, то, без сомнения, я прочту со временем в долговой книге Неба; но с его жалкими управителями я не буду больше терять ни одного слова. Скажи им—мое ремесло возмездие, мое занятие—мщение. (Поворачивается спиной к нему).

П а т е р. Так ты не хочешь пощады и помилования? Хорошо, с тобой дело кончено. (Обращается к шайке) Послушайте же теперь вы, что правосудие передает вам через меня! Если вы сейчас свяжете и выдадите этого приговоренного к смерти преступника, то все ваши преступления до последнего воспоминания будут вам прощены, святая церковь примет вас, заблудших овц, с возобновленной любовью в свое материнское

— Оно, и каждому из вас будет открыта дорога к почетным должностям. (С торжествующей улыбкой) Ну, как вам это нравится, Ваше Величество? Скорее же! Свяжите его, и будьте свободны!

М о о р. Слышите вы, слышите? Что вы изумляетесь? Отчего вы смущены? Правосудие предлагает вам свободу, а вы в действительности уже его пленные. Оно дарит вам жизнь, и это не пустое хвастовство, потому что вы действительно осуждены. Оно обещает вам почет и места, а что может быть вашим уделом, даже если бы вы взяли верх, как не позор, и проклятие, и преследование? Оно возвещает вам примирение с небом, а вы действительно прокляты. Нет ни одного волоса на ком-либо из вас, который не отправился бы прямо в ад. Вы еще размышляете..... колеблетесь? Разве так трудно выбирать между небом и адом? Помогите же, господин патер!

П а т е р (про себя). Что он, с ума сошел? (Громко). Может быть, вы боитесь, что это ловушка, чтобы захватить вас живыми? Читайте сами, здесь подписано полное помилование (подает Швейцеру бумагу). Можете ли вы еще сомневаться?

М о о р. Смотрите же, смотрите! Чего вам еще желать? Подписано собственной рукой... Это милость выше всех границ... или вы боитесь, что они нарушат свое слово, так как вы когда-то слышали, что по отношению к изменникам слова не держат?.. О, не бойтесь! уже собственная выгода должна была бы их заставить сдержать слово, если бы они его дали даже сатане. Кто поверил бы им в будущем? Как могли бы они прибегнуть к этому второй раз? Я готов при-

снять, что они действительно это сделают. Они знают, что это я вас возмутил и озлобил; вас они считают невинными. Ваши преступления они объясняют ошибками молодости, опрометчивостью. Меня одного им нужно, я один заслуживаю кары. Разве это не так, господин патер?

П а т е р. Какой дьявол говорит его устами?.. Да, конечно, конечно, это так... этот молодец сбивает меня с толку.

М о о р. Как, все еще нет ответа? Вы, может быть, еще думаете прорваться с оружием в руках? Оглянитесь же, посмотрите кругом! Вы не можете этого думать! Это была бы ведь ребяческая самонадеянность... или, может быть, там льстит мысль пасть, как герой, потому что вы видели, что я радовался битве? О, не думайте этого! Вы—не М о о р! Вы—безбожные воры, жалкие орудия моих великих планов, презренные, как веревка в руках палача! Воры не могут пасть, пасть, как герой. Жизнь для воров—выигрыш, потом приходит что-то страшное... Воры имеют право трепетать перед смертью. Слышите, как звучат их трубы! Видите, как грозно сверкают там их сабли! Как? Все еще не решаетесь? Вы с ума сошли, обезумели?.. Это непростительно! Я не хочу быть вам обязанным жизнью, я стыжусь вашей жертвы!

П а т е р (крайне изумленный). Я с ума схожу, я убегу! Слыхано ли когда-нибудь что-либо подобное?

М о о р. Или вы боитесь, что я зарежусь и самоубийством разрушу договор, который действителен только по отношению к живому? Нет, дети, это напрасный страх. Вот я бросаю свой кинжал и пистолеты и пузырек с ядом, который

должен был меня выручить—я так жалок, что даже потерял власть над своей жизнью... Как все-таки не решаетесь? Или вы, может быть, думаете, что я стану защищаться, когда вы будете меня вязать? Смотрите! Вот я привязываю свою правую руку к этому сучку дуба, я совершенно беззащитен, ребенок может меня опрокинуть—кто первый, который покинет своего атамана в нужде?

Роллер (в безумном экстазе). II если бы ад окружал нас девять раз... (Потрясая шпагой) Кто не собака, спасай атамана!

Швейцер (разрывает помилование и бросает куски бумаги в лицо патеру). Амнистия в наших пулях! Прочь, каналья! Скажи сенату, который тебя прислал, что в шайке Моора ты не нашел ни одного изменника. Спасайте, спасайте атамана!

Все (шумно). Спасайте, спасайте, спасайте атамана!

Моор (вырываясь, радостно). Теперь мы свободны! Товарищи! Я чувствую в своей руке целое войско... Смерть или свобода! По крайней мере, они никого не захватят живым.

(Сигнал к атаке. Шум и суета. Они уходят с обнаженными шпагами).

ТРЕТИЙ АКТ.

Сцена I.

Амалия в саду играет на лютне.

Ангел был он красотою!
Маем кроткий взор блистал!
Все великою душою
Несравненный превышал!
Поцелуй—сладость рая,
Слитых пламеней струя,
Горних арф игра святая!
Небеса вкушала я!
Взором взор, душою душою
Распалаясь—все цвело!
Мир сиял для нас весною,
Все нам радость в дар несло!
Непостижное слиянье
Восхищенья и тоски,
Нежных ласк очарованье,
Огонь сжимающей руки!
Сердца сладостные муки—
Все прости!.. его уж нет!
Ах! прерви ж печаль разлуки,
Смерть, души последний свет!

(Франц входит).

Франц. Опять уж здесь, свояправная мечтательница? Ты скрылась с веселого пира и нарушила веселье гостей.

Амалия. Жаль этого невинного веселья! В твоих ушах должен был бы еще звучать погре-

балльный напев, который раздавался над могилой твоего отца...

Франц. Неужели ты вечно будешь сетовать? Оставь в покое мертвых и давай счастье живым! Я пришел...

Амалия. А когда ты опять уйдешь?

Франц. Увы! Не делай такого мрачного, гордого лица! Ты огорчаешь меня, Амалия! Я пришел тебе сказать...

Амалия. Конечно, я должна выслушать, Франц фон Моор стал ведь господином.

Франц. Да, разумеется, и именно об этом я и хотел с тобой поговорить... Максимилиан успокоился в могиле отца. Я—господин. Но я хотел бы быть им вполне, Амалия... Ты знаешь, чем ты была для нашего дома, на тебя смотрели, как на дочь Моора, его любовь к тебе пережила даже смерть; ты этого, конечно, никогда не забудешь?

Амалия. Никогда, никогда. И кто мог бы это так легкомысленно забыть, пируя за веселым обедом!

Франц. За любовь моего отца ты должна вознаградить его сыновей, Карл умер — ты изумляешься? У тебя закружилась голова? Да, действительно, эта мысль такая лестная, такая высокая, что может ошеломить даже гордость женщины. Франц копирует ногами надежды самых благородных девушек, Франц приходит и предлагает бедной, беспомощной сироте свое сердце, свою руку и вместе с ней все свои богатства, свои замки и леса. Франц, которому завидуют, которого боятся, объявляет себя добровольно рабом Амалии...

Амалия. Почему молния не прожжет нечистый язык, который выговорил эти преступ-

ные слова! Ты убил моего возлюбленного, и Амалия должна назвать тебя супругом! Ты...

Франц. Не так свирепо, всемиростивейшая принцесса! Конечно, Франц не изгибается перед тобой, как воркующий Селадон²⁵; конечно, он не умеет, как темный аркадский пастушок, поверять свою любовную тоску эху гротов и скал—Франц говорит, а если ему не отвечают, то он будет приказывать.

Амалия. Ты, червь, будешь приказывать, приказывать мне? А если на это приказание ответят язвительной насмешкой?

Франц. Этого ты не сделаешь. Я знаю еще средства, которые могут сломить гордость спесивой упрямцы—монастырь и стены!

Амалия. Браво! Превосходно! В монастыре, за стенами, быть навеки защищенной от твоих глаз василиска и иметь достаточно свободного времени, чтобы думать о Карле, вспоминать о нем... Твой монастырь, твои стены для меня желанное убежище!.. Скорее туда!

Франц. Ха, ха! Вот как? Берегись! Теперь ты научила меня искусству тебя мучить. Мой взгляд, бичуя подобно огненноволосой фурии, будет изгонять из твоей головы эти вечные мечты о Карле; страшлище Франц будет выглядывать как из засады из-за образа твоего любимца, как заколдованная собака, которая лезет на подземных сокровищах... За волосы пригнущу и тебя в церковь, со шпагой в руке вырву из твоей души брачную клятву, силою лягу на твою девственную постель, побежду твою гордую стыдливость еще большей гордостью.

Амалия (дает ему пощечину). Возьми это сначала, как приданое.

Франц (в ярости). Ха! Десятью десять раз

поплатишься ты мне за это! Не женой моей—этой чести тебе не видать—ты будешь моей любовницей, так что честные крестьянские женщины будут показывать на тебя пальцами, когда ты осмелишься показаться на улице. Скрежещи зубами, мечи убийственное пламя из глаз—меня тешит гнев женщины, он делает тебя еще прекраснее, еще желаннее. Пойдем, это сопротивление украсит мое торжество и усилит сладострастие насильственных объятий... Пойдем со мной в мою спальню... я горю страстью... теперь, сейчас ты должна идти со мной! (Хочет ее увлечь).

Амалия (бросается ему на шею). Прости меня, Франц! (Когда он хочет ее обнять, она вырывает у него сбоку шпагу и быстро отступает). Видишь, злодей, что я могу теперь сделать с тобой! Я женщина, но женщина, доведенная до исступления... Посмей только... Эта сталь пронзит твою похотливую грудь, и дух моего дяди направит мою руку. Уходи сию минуту! (Прогоняет его).

(Амалия одна).

Амалия. О, как мне хорошо... Теперь я могу дышать свободно... Я чувствую себя сильной, как горячий конь, злобной, как тигрица, преследующая победоносного похитителя ее детенышей... В монастырь, говорит он... Благодарю тебя за эту счастливую мысль! Теперь обманутая любовь нашла себе пристанище... монастырь... крест Искупителя, вот убежище обманутой любви. (Хочет идти).

(Герман робко входит).

Герман. Фрейлейн Амалия, фрейлейн Амалия!

Амалия. Несчастный! Зачем ты мне мешаешь?

Герман. Я должен сбросить эту тяжесть с своей души, пока она не увлекла ее в ад. (Бросается перед ней на колени). Прощения, прощения! Я вас очень оскорбил, фрейлейн Амалия!

Амалия. Встань! Уйди! Я не хочу ничего знать. (Хочет идти).

Герман (удерживает ее). Нет, останьтесь! Заклинаю вас Богом, заклинаю вас вечным Богом! Вы должны все узнать!

Амалия. Ни звука более. Я прощаю тебе. Иди с миром. (Хочет поспешно уйти).

Герман. Выслушайте же только одно слово—оно возвратит вам покой.

Амалия (возвращается и смотрит на него с удивлением). Как, друг? Кто на небе или на земле может вернуть мне покой?

Герман. Это может сделать одно слово из моих уст—выслушайте меня!

Амалия (взяв его за руку, с состраданием). Добрый человек! Может ли слово из твоих уст открыть врата вечности?

Герман (встает). Карл еще жив!

Амалия (вскрикивает). Несчастный!

Герман. Это так... Теперь еще одно слово—ваш дядя...

Амалия (бросается к нему). Ты лжешь...

Герман. Ваш дядя...

Амалия. Карл жив!

Герман. И ваш дядя...

Амалия. Карл еще жив?

Герман. И ваш дядя тоже. Не выдавайте меня. (Поспешно уходит).

А м а л и я (долго стоит, как окаменевшая, потом сильно вздрагивает и бросается вслед за ним). Карл еще жив!

Сцена II.

Местность около Лука.

Разбойники расположились на возвышении под деревьями, лошади пасутся внизу около холма.

М о о р. Здесь я лигу отдохнуть (бросается на землю). Я весь разбит. Язык мой высох, как черепок. (Швейцер незаметно исчезает). Я хотел вас попросить зачерпнуть мне пригоршню воды из этого ручья, но вы все устали до смерти.

Ш в а р ц. И вино в наших мехах все вышло.

М о о р. Посмотрите, как хороши хлеба! Деревья почти ломятся под тяжестью плодов. Виноградники дадут хороший урожай.

Г р и м м. Год будет плодородный.

М о о р. Ты думаешь? Тогда хоть одна капля пота в мире была бы вознаграждена... Одна?.. Но ведь ночью может выпасть град и выбить все до тла.

Ш в а р ц. Это очень возможно. Все может погибнуть за несколько часов до жатвы.

М о о р. Я это и говорю. Все погибнет. Почему человеку должно удаваться то, в чем он похож на муравья, если не исполняется то, что сделал бы его подобным богам? Или тут граница его предназначения?

Ш в а р ц. Я не знаю ее.

М о о р. Ты хорошо сказал и еще лучше делал, если никогда не старался ее узнать. Брат,

я видел людей, их печальные хлопоты и исполненские проекты, их планы богов и дела мышей, эту непостижимую погоню за счастьем... Этот доверие к быстроте своего коня, другой чутью своего осла, третий своим собственным ногам; эта пестрая лотерея жизни, в которой иной ставит на карту свою невинность и свое небесное блаженство, чтобы схватить выигрыш, и... вытаскивает пустые билеты... в конце концов, там и не было выигрыша. Это такое зрелище, брат, которое вызывает слезы из глаз, в то же время как заставляет тебя смеяться.

Ш в а р ц. Как великолепно заходит там солнце!

М о о р (погруженный в это зрелище). Так умирает герой! Достойным поклонения!

Г р и м м. Ты, кажется, глубоко тронут.

М о о р. Когда я был еще мальчиком, это была моя любимая мечта, жить как о н о и как о н о умереть... (Со скрытой горечью) Это была ребяческая мечта!

Г р и м м. Надеюсь, что так.

М о о р (надевает шляпу на лицо). Было время... Оставьте меня одного, товарищи.

Ш в а р ц. Моор! Моор! Что же это, чорт возьми?.. Как он меняется в лице!

Г р и м м. Что за чорт! Что с ним? Не дурно ли ему?

М о о р. Было время, когда я не мог спать, если забывал прочесть вечернюю молитву...

Г р и м м. Ты с ума сошел? Не хочешь ли ты, чтобы твои детские годы водили тебя на помочах?

М о о р (кладет голову на грудь Гриму). Брат, брат!

Гримм. Что? Не будь же ребенком... Прощу тебя...

Моор. Еслиб я им был... еслиб я был им опять!

Гримм. Полно, полно!

Шварц. Развеселись. Посмотри на этот живописный ландшафт, на этот прелестный вечер.

Моор. Да, друзья! Этот мир так прекрасен.

Шварц. Ну, это было хорошо сказано.

Моор. Эта земля так хороша.

Гримм. Хорошо, хорошо—это мне нравится.

Моор (опять погружаясь в раздумье). А я так гадок в этом чудесном мире, а я—чудовище на этой прекрасной земле.

Гримм. Увы! увy!

Моор. Моя невинность, моя невинность! Смотрите, все вышло погреться в мирных лучах весеннего солнца—почему же я один извлекаю адскую муку из радостей неба? Все так счастливо, так объединено веянием мира! Весь мир—одна семья и один Отец там вверху—не мой Отец... я один отверженный, один выброшенный из числа безгрешных... не для меня сладкое имя сына... не для меня нежный взгляд любимой женщины, объятия друга... (с ужасом откидывается назад). Окруженный убийцами... шипящими ехиднами... прикованный железными цепями к пороку... стремящийся по этому неверному пути в могилу, к вечной гибели... среди цветов счастливого мира рыдающий Аббадона! *)

*) Аббадона—падший ангел в „Мессиаде“ Клоппштока.

Шварц (к остальным). Непонятно! Я никогда не видал его таким.

Моор (с тоской). Если бы я мог вернуться в чрево матери... еслиб я мог родиться нищим! Нет! Я хотел бы только одного, о, небо! чтобы я мог сделаться одним из этих поденщиков! О! я стал бы работать до кровавого пота, чтобы только купить себе радость послеобеденного сна, блаженство одной единственной слезы.

Гримм (обращаясь к другим). Терпение, припадок ослабевает.

Моор. Было время, когда они текли свободно... о, вы, дни мира! ты, замок моего отца, вы, зеленые долины, полные мечты! О, вы, райские сцены моего детства!.. Неужели вы никогда не вернетесь, никогда не освежите мою пылающую грудь вашим чистым дыханием? Плачь со мной, природа! Они никогда не вернутся, никогда не освежат своим чистым дыханием мою пылающую грудь. Они прошли, прошли безвозвратно!

(Швейцер с водою в шляпе).

Швейцер. Пей, атаман, здесь достаточно воды, и она холодна, как лед.

Шварц. Ты в крови, что с тобой случилось?

Швейцер. Глупец, это—штука, которая едва не стоила мне обеих ног и шеи. Я иду себе по песчаному берегу около реки—трах! весь этот мусор обваливается подо мной, и я лечу с высоты десяти рейнских футов... А когда я опять опомнился, я нашел в песке самую чистую воду. На этот раз довольно, подумал я, атаману это придется по вкусу.

Моор (отдает шляпу и вытирает ему лоб). А то не видать шрамов, которыми богемские

всадники исчертили тебе лоб... твоя вода была хороша, Швейцер... эти шрамы очень идут к тебе.

Швейцер. Ну, найдется еще место для тридцати таких шрамов.

Моор. Да, дети, это было жаркое дело—и только один человек потерял... мой Роллер умер славной смертью. Над его прахом поставили бы мраморный памятник, если бы он умер не за меня. Удовлетворитесь этим (вытирает глаза). Сколько же неприятелей осталось на месте?

Швейцер. Сто шестьдесят гусар... девятьюсто три драгуна... около сорока егерей—в общем до трехсот человек.

Моор. Триста за одного! Каждый из вас имеет право на эту голову! (Обиажает голову). Вот я поднимаю мой кинжал. Клянусь моей душой, я вас никогда не покину.

Швейцер. Не клянись! Ты не знаешь, может быть, ты будешь еще счастлив и расквесишься в этом.

Моор. Клянусь прахом моего Роллера! Я вас никогда не покину.

(Косинский входит).

Косинский (про себя). Где-нибудь в этом округе, сказали мне, я могу его найти... Эге! Что это за дива? Неужели это... что если это они... это они, они!.. Я заговорю с ними.

Шварц. Берегись! Кто идет?

Косинский. Простите, господа! Я не знаю, куда ли я пришел или нет?

Моор. А кто же мы, если вы пришли именно туда?

Косинский. Мужчины!

Швейцер. Мы ведь доказали это, атаман?

Косинский. Я ишу людей, которые смотрят в лицо смерти и играют с опасностью, как с ручной змеей, которые ценят свободу выше чести и жизни, одно имя которых, желанное для бедных и угнетенных, повергает в трепет самых храбрых и заставляет бледнеть тиранов.

Швейцер (атаману). Этот парень мне нравится... Слушай, приятель! Ты нашел тех, кого тебе нужно.

Косинский. Да, я думаю, что это так, и надеюсь, мы скоро станем братьями... Так вы можете направить меня к человеку, которого я ишу, к вашему атаману, знаменитому графу фон Моор.

Швейцер (горячо жмет ему руку). Милый юноша! Мы будем с тобой на ты.

Моор. Вы знаете также и атамана?

Косинский. Это ты!.. В этом лице... Кто, посмотрев на тебя, станет искать другого? (Смотрит на него долго и пристально). Я всегда желал увидеть человека с уничтожающим взглядом, когда он сидел на развалинах Карфагена... Теперь я этого более не желаю.

Швейцер. Молодец!

Моор. Что привело вас ко мне?

Косинский. О, атаман! моя более чем ужасная судьба... Я потерпел кораблекрушение в бурном море этого мира, я видел, как гибли мои надежды, и у меня не оставалось ничего, кроме мучительного воспоминания об их утрате, которое довело бы меня до сумасшествия, если бы я не старался подавить его постороннею деятельностью.

Моор. Еще один пред'явитель иска к Божеству!.. Продолжайте.

К о с и н с к и й. Я пошел в солдаты—несчастье преследовало меня и здесь, я отправился в Ост-Индию—мой корабль разбился о скалы... Ничего, кроме неудавшихся планов! Наконец, я слышу повсюду рассказы о твоих подвигах, убийствах и поджигательствах, как они их называли, и приехал сюда за тридцать миль с твердым решением служить под твоим начальством, если ты захочешь принять мои услуги. Прошу тебя, достойный атаман, не отказывай мне в этом!

Ш в е й ц е р (вскакивая). Ура! ура! Таким образом, наш Роллер возмещен нам тысячу раз! Это настоящий головорез для нашей шайки!

М о о р. Как твоё имя?

К о с и н с к и й. Косинский.

М о о р. Как, Косинский? Знаешь ли, что ты—легкомысленный мальчик, ты играешь великим шагом жизни, как неразумная девочка... Здесь тебе придется не в мячик играть и не кегли выбивать, как ты-воображаешь.

К о с и н с к и й. Я понимаю, что ты хочешь сказать... Мне двадцать четыре года, но я видал, как сверкают сабли, и слышал, как жужжат пули кругом.

М о о р. Вот как, молодой человек? И ты учился фехтовать только затем, чтобы убивать бедных путешественников из-за рейхсталера, или исподтишка распарывать животы женщинам? Ступай, ступай! Ты, вероятно, убежал от няньки, потому что она пригрозила тебе розгой.

Ш в е й ц е р. Что же, чорт побери, о чем ты думаешь, атаман? Неужели ты хочешь отослать этого Геркулеса? Разве он не выглядит так, как будто собирается уполовником прогнать маршала Саксонского по ту сторону Ганга? "

М о о р. Потому что тебе не повезло в каких-то пустяках, ты приходишь и хочешь сделаться мошенником и убийцей?.. Убийство,—мальчик, понимаешь ли ты это слово? Ты можешь спокойно идти спать, если срежешь головки у мака, но взять на душу убийство...

К о с и н с к и й. За всякое убийство, которое ты прикажешь мне совершить, я готов отвечать.

М о о р. Да? Ты так умен? Ты думаешь поимать человека лестью? Почему ты знаешь, что у меня не бывает злых снов или что я не поблднею на смертном одре? Много ли ты уже сделал такого, что заставило бы тебя подумать об ответственности?

К о с и н с к и й. Действительно, еще очень мало, но все-таки это путешествие к тебе, благородный граф!

М о о р. Не сунул ли твой гувернер тебе в руки историю Робина *)—таких неосторожных каналов следовало бы заковывать в кандалы—которая воспламенила твою ребяческую фантазию и заразила тебя безумным стремлением попасть в великие люди? Громкое имя и почести щекогут твоё самолюбие? Поджигательством ты хочешь приобрести бессмертие? Заметь себе, честолюбивый юноша! Для разбойников не зеленеют лавры! За победами бандитов следуют не триумфы, но проклятие, опасность, смерть и позор... Ты видишь виселицу там на холме?

Ш п и г е л ь б е р г (с неудовольствием ходит взад и вперед). Ах, как глупо! Как отвратительно, как непростительно глупо! Так нельзя. Я поступал иначе.

*) Робин Гуд—благородный разбойник, герой многих шотландских баллад.

К о с и н с к и й. Чего может испугаться тот, кто не боится смерти?

М о о р. Отлично! Несравненно! Ты хорошо учился и мастерски выучил наизусть своего Сенеку *). Но, милый друг, подобными сентенциями **) ты не обманешь страдающую природу, ими ты никогда не притупишь стрелы страдания. Обдумай хорошенько, сын мой! (Берет его за руку). Подумай, я советую тебе, как отец—узнай сначала глубину пропасти, прежде чем прыгнешь в нее! Если ты рассчитываешь получить в мире еще хоть какую-нибудь радость... могут наступить минуты, когда ты очнешься... и тогда... может быть, будет уж поздно. Здесь ты выходишь, так сказать, из круга человечества: или ты должен стать выше людей, или превратиться в дьявола... Еще раз, сын мой! Если для тебя где-нибудь мерцает хоть искра надежды, уходи от этого ужасного союза, в который вступает только отчаяние... Можно обманиваться, поверь мне, можно принимать за силу духа то, что, в конце концов, все же одно отчаяние... Поверь мне, мне! и уходи скорее!

К о с и н с к и й. Нет, теперь я больше не уйду! Если тебя не трогают мои просьбы, то выслушай историю моих несчастий. Ты сам вложишь мне тогда княжал в руки, ты... Сядьте здесь на земле и слушайте меня внимательно!

М о о р. Я слушаю тебя.

К о с и н с к и й. Итак, знайте: я чешский дворянин; после преждевременной смерти отца я стал владельцем большого дворянского поме-

*) Сенека—римский философ. (П. в. по Ровд. Хр.), последователя стоиков, проповедовавших отречение к страданиям и к смерти.

**) Сентенция—изречение.

стья. Местность была райская, потому что там жил ангел—девушка, украшенная всеми добродетелями и чистая, как свет небесный. Впрочем, кому я это говорю? Вы никогда не любили и не были любимы...

Ш в е й ц е р. Тише, тише! Наш атаман вспыхнул, как огонь.

М о о р. Замолчи! Я выслушаю тебя в другой раз... завтра, скоро... или—когда увижу кровь.

К о с и н с к и й. Кровь, кровь... слушай же дальше! Кровь, говорю тебе, зальет всю твою душу. Она была мещанского происхождения, немка, но ее наружность уничтожала все дворянские предрассудки. С застенчивой скромностью взяла она у меня из рук обручальное кольцо, и через день я должен был вести свою Амалию к алтарю.

М о о р (быстро встает).

К о с и н с к и й. Среди упоения ожидающего меня блаженства, среди приготовлений к свадьбе, я получаю вдруг с нарочным приказание явиться ко двору. Я явился. Мне показали письма изменнического содержания, которые я будто бы написал. Я вспыхнул при виде этой злобной клеветы... У меня отняли шпагу, бросили меня в тюрьму, я совершенно потерял голову...

Ш в е й ц е р. А в это время... продолжай же! Я уж слышу, чем пахнет.

К о с и н с к и й. Тут я высиел целый месяц, сам не помню, как. Я боялся за Амалию, которая должна была жестоко страдать при мысли о моей судьбе. Наконец, является первый министр двора, поздравляет меня в самых сладких выражениях с раскрытием моей невинности, читает мне приказ об освобождении и возвращает шпагу.

В восторге несусь я в свой замок, чтобы броситься в объятия моей Амалии—она исчезла. В полночь ее увезли, никто не знает куда, и с тех пор никто ее не видал. В один миг меня точно осенило, я бросаюсь в город, зондирую при дворе—все на меня смотрят во все глаза и никто не хочет отвечать, наконец, я увидал ее за потайной решеткой во дворце—она бросила мне записочку.

Швейцер. Не говорил ли я.

Косинский. Тысячу проклятий! Вот что там стояло: ей предоставили на выбор — видеть меня мертвым, или стать любовницей князя. В борьбе между честью и любовью она решилась на последнее, и (смеясь) я был спасен.

Швейцер. Что ты тогда сделал?

Косинский. Я стоял, как пораженный громом! Крови! было первой моей мыслью, крови! было последней моей мыслью. С пеной у рта бросаюсь я домой, выбираю трехгранную шпагу и спешу в дом министра, так как он—он был проклятым сводником. Должно быть, меня увидали с улицы, потому что, когда я вошел, все двери были закрыты. Я ишу, спрашиваю: он уехал к князю, отвечают мне. Я отправляюсь прямо туда, там говорят, что его не видали. Я возвращаюсь, взламываю двери, нахожу его и только что хочу... но тут выскочили из засады пять или шесть слуг и вырвали у меня шпагу.

Швейцер (топает ногой). И ему ничего не досталось и ты ушел с пустыми руками?

Косинский. Я был схвачен, обвинен в преступлении, меня предали суду, и с лишением честного имени—заметьте себе! по особенной милости с лишением чести выслали из границ государства; мои именина достались, в виде

подарка, министру, моя Амалия остается в когтях у тигра, тоскует и плачет о своей загубленной жизни, а между тем мое мшенье, не находя себе пищи, должно склоняться перед игом деспотизма.

Швейцер (встает и точит свою шпагу). Это наше дело, атаман! Тут можно поработать!

Мoor (который до сих пор взволнованно ходил взад и вперед, быстро подходит к разбойникам). Я должен ее видеть... Поднимайтесь! Собирайте все... Ты остаешься, Косинский... Укладывайте все скорее!

Разбойники. Куда? Что?

Мoor. Куда? Кто спрашивает, куда? (К Швейцеру с гневом.) Изменник, ты хочешь меня удержать? Но, клянусь небом!

Швейцер. Изменник, я?.. Ступай в ад, я последую за тобой!

Мoor (бросается ему на шею). Брат, ты следуешь за мной!.. Она плачет, она тоскует о своей погибшей жизни... В путь! Живее! Все! Во Франконию! Через неделю мы должны быть там. (Уходят).

ЧЕТВЕРТЫЙ АКТ.

Сцена I.

Сельская местность около замка Моор.

Разбойник Моор, Косинский вдаль.]

Моор. Иди вперед и доложи обо мне. Ты ведь помнишь все, что должен сказать?

Косинский. Вы граф фон-Бранд, едете из Мекленбурга, я—ваш стремяной. Не беспокойтесь, я хорошо сыграю свою роль. Прощайте! (Уходит).

Моор. Привет тебе, родная земля! (Он целует землю.) Родное небо, родное солнце! И луга, и холмы, и потоки, и леса! Всем, всем вам мой сердечный привет! Как сладко веет воздух в горах моей родины! Какое чудное благоухание струится оттуда навстречу бедному беглецу! Элизий *)! Мир поэзии! Остановись, Моор! Твоя нога вступает в святой храм. (Подходит ближе.)

Вот и гнездо ласточек во дворе замка... и садовая калитка! И этот уголок около забора, где ты так часто подстерегал и дразнил ловчего... а там, внизу, лужайка, где ты, герой Александр ²³, вел своих македонян в сражение при Арбелах, а рядом поросший травой холм, с которого ты сбросил персидского сатрапа... и твое победоносное знамя взвивалось высоко! (Улыбается). Золотые весенние дни детства снова оживают в душе несчастного... ты был тогда так счастлив,

*) Элизий—древнее название рай.

так бесконечно, безоблачно весел... а теперь— вот лежат развалины твоих надежд! Здесь ты должен был жить впоследствии, важный, знатный, прославленный человек, здесь ты думал второй раз пережить свою юность в цветущих детях Амалии... здесь, здесь быть идолом своего народа... но злой враг не захотел этого! (Вскрикивает). Зачем я пришел сюда? Чтобы испытать то, что чувствует заключенный, когда звук железного кольца пробуждает его от снов свободы... Нет, я уйду обратно к своему несчастью! Заключенный забыл о свете, но сон свободы сверкнул ему как молния в ночи, и ночь стала еще мрачнее... Прощайте, родные долины! Когда-то вы видели мальчика Карла, и этот мальчик был счастлив—теперь вы видели взрослого человека, и человек этот был в отчаянии. (Он быстро поворачивается и идет вглубь местности, но вдруг останавливается и с тоской смотрит назад на замок). Не видеть ее, не бросить ни одного взгляда?... Только одна стена была между мной и Амалией... Нет, я должен ее видеть! Я должен его... Хотя бы это окончательно сокрушило меня! (Возвращается).

Отец, отец, твой сын приближается!.. Прочь от меня, черная, дымящаяся кровь! прочь, пустой, неподвижный, сверкающий взгляд смерти! Только на этот час оставь меня в покое... Амалия! Отец! Твой Карл приближается. (Быстро идет к замку). Мучь меня, когда наступит день, не отходи от меня, когда приходит ночь, терзай меня ужасными снами! Только не отравляй мне этой единственной радости! (Останавливается перед калиткой). Что об мной? Что это, Моор? Будь мужчиной!.. Смертельный страх... Ужасное предчувствие... (Входит).

Сцена II.

Галлерея в замке.

Разбойник Моор, Амалия входят.

А м а л и я. И вы уверены, что узнаете его портрет между этими картинами?

М о о р. О, конечно. Его образ всегда жив во мне. (Проходит мимо картин). Это не он.

А м а л и я. Вы угадали. Это родоначальник графского дома, получивший дворянство от Барбароссы *), которому он служил в походах против морских разбойников.

М о о р (все еще около портретов). Это тоже не он, и это не он, также и тот—его здесь нет.

А м а л и я. Как, посмотрите же хорошенько! Я думала, вы его знаете...

М о о р. Отца своего я знаю не лучше! Ему недостает этой кроткой черты около рта, по которой его можно было узнать из тысячи... Это не он.

А м а л и я. Я изумляюсь. Как? Восемнадцать лет вы его не видели и еще...

М о о р (быстро, с вспыхнувшей краской на лице). Вот он! (Стоит, как пораженный молнией).

А м а л и я. Превосходный человек!

М о о р (погруженный в размышление). Отец, отец! прости меня!.. Да, превосходный человек! (Вытирает глаза). Чудный человек!

А м а л и я. Вы, кажется, принимаете в нем большое участие?

*) Барбаросса (рыжая борода)—прозвище германского императора Фридриха (XII в.).

М о о р. О, превосходный человек... И его уже нет?

А м а л и я. Его уже нет! Так умирают наши лучшие радости. (Тихо берет его за руку). Дорогой граф, нет счастья под луной.

М о о р. Совершенно верно, совершенно верно... И неужели вы дошли до этого печальным опытом? Вам не может быть и двадцати трех лет.

А м а л и я. И я дошла до этого. Все живет, чтобы опять печально умереть. Мы интересуемся, приобретаем только затем, чтобы опять с болью потерять.

М о о р. Вы уже потеряли что-нибудь?

А м а л и я. Ничего! Все! Ничего... Пойдем ли мы дальше, граф?

М о о р. Так быстро? Чей это портрет там, направо? Мне кажется, это несчастное лицо.

А м а л и я. Этот портрет налево — это сын графа, настоящий владелец... Пойдемте, пойдемте!

М о о р. Но этот портрет направо?

А м а л и я. Вы не хотите пойти в сад?

М о о р. Но этот портрет направо?.. Ты плачешь, Амалия?

(Амалия быстро уходит).

М о о р. Она меня любит, она меня любит! Все ее существо пришло в волнение, слезы предательски покатались по щекам. Она любит меня! Несчастный, заслужил ли ты это? Разве я не стою здесь, как осужденный перед плахой? Не та ли это софа, на которой я блаженствовал в ее объятиях? Не отцовские ли это залы? (Взволнованный смотрит на портрет отца.) Ты, ты... твои глаза мечут пламя... Проклятие, проклятие, отвер-

жение! Где я? Темнеет в глазах... Ужасно... Боже! я, я убил его! (Убегает).

Франц фон Моор (погруженный в глубокую задумчивость). Прочь этот образ! Прочь, трусливая баба! Что ты робеешь и перед кем? В течение немногих часов, которые граф провел в этих стенах, мне все чудится, будто у меня по пятам крадется адский шпион... Мне кажется, что я его знаю! В его суровом загорелом лице есть что-то величественное, хорошо знакомое, что бросает меня в дрожь... И Амалия равнодушна к нему! Она бросает на него такие страстные, томные взгляды, на которые она обыкновенно очень скупа для всех. Разве я не видел, как она уронила украдкой несколько слезинок в вино, которое он выпил за моей спиной так поспешно, как будто хотел проглотить вместе с ним и стакан? Да, я видел это, видел собственными своими глазами в зеркале. Ну, Франц, берегись! За этим скрывается что-нибудь чудовищное, чреватое гибельными последствиями!

(Он испытующе смотрит на портрет Карла напротив).

Его длинная гусиная шея... его огненные черные глаза, гм! гм! его темные, нависшие, густые брови... (Внезапно содрогаясь). Злорадный ад! Это ты посылаешь мне такое подозрение? Это Карл! Теперь передо мной опять оживают все его черты... Это он! Несмотря на его маску! Это он — смерть и проклятие! (В волнении ходит взад и вперед). Неужели для этого просиживал я ночи... сдвигал скалы, заравнивал пропасти... неужели для того восстал я против всех инстинктов человечества, чтобы этот непостоянный бродяга затесался в мой искусный лабиринт... Осто-

рожно, только осторожно! Остается только пустячное дело... Ведь я и без того уже по уши погряз в смертных грехах, было бы бессмысленно плыть обратно, когда берег остался так далеко позади... О возвращении нечего и думать. Само милосердие было бы доведено до нищенской суммы, и бесконечное страдание обанкротилось бы, если бы они вздумали поручиться за мои грехи... Поэтому вперед, как подобает мужчине... (Звонит). Пусть он собирается и идет к духу своего отца! Я смеюсь над мертвыми... Даниэль! Эй, Даниэль! Может быть, и его они уже восстановили против меня! Он смотрит так таинственно.

(Даниэль входит).

Даниэль. Что прикажете, господин мой? Франц. Ничего. Ступай, налей этот кубок вином, да поскорей! (Даниэль уходит). Подожди, старик! Я тебя поймаю, я буду наблюдать за тобой так пристально, что твоя нечистая совесть заставит тебя поблестеть сквозь маску! Он должен умереть! Глупец тот, кто доводит свое дело только до половины и потом уходит и празднично смотрит, что из этого выйдет.

(Даниэль с вином).

Франц. Поставь сюда! Посмотри мне прямо в глаза! Как у тебя подгибаются коленки! Как ты дрожишь! Признавайся, старик! Что ты сделал?

Даниэль. Ничего, милостивый господин, клянусь Богом и моей бедной душой!

Франц. Выпей это вино! Что? Ты колеблешься? Говори сейчас же! Что ты положил в вино?

Даниэль. Господи, помилуй! Что? Я... в вино?

Франц. Ты положил яд в вино! Смотри, ты побледнел, как полотно! Признавайся, признавайся! Кто дал тебе яд? Не правда ли, граф, граф дал тебе его?

Даниэль. Граф? Господи, Иисусе Христе! Граф мне ничего не давал.

Франц (гневно схватывает его). Я буду тебя душить, так что ты посинеешь, седой лгун! Ничего? Почему же вы всегда торчите вместе? Он, ты и Амалия? И о чем вы постоянно шепчетесь? Говори! Какие тайны, какие тайны он тебе доверил?

Даниэль. Это известно Всеведущему Богу: он не доверял мне никаких тайн.

Франц. Ты еще будешь отрицать? Какие коварные планы изобрели вы, чтобы убрать меня с дороги? Задушить меня во сне? Перерезать мне горло бритвой? Дать мне отраву в вине или в шоколаде? Говори, говори! Или отправить меня на вечный покой при помощи супа? Говори же! Я знаю все.

Даниэль. Да покинет меня Господь в нужде, если я сказал вам что-нибудь, кроме чистой правды.

Франц. На этот раз я прощаю тебя. Но, слушай, он, наверное, совал тебе деньги? Он жал тебе руку крепче, чем это принято? Так, как пожимают руку старому знакомому?

Даниэль. Никогда, господин.

Франц. Он не говорил тебе, например, что он тебя уже раньше знал? Что ты должен был бы его знать? Что у тебя когда-нибудь упадет с глаз повязка, что... ну? он тебе никогда ничего подобного не говорил?

Даниэль. Ничего подобного.

Франц. Что некоторые обстоятельства его принуждают... что часто приходится надевать маску, чтобы приблизиться к своим врагам... что он хочет отомстить, отомстить самым ужасным образом?

Даниэль. Ни звука обо всем этом.

Франц. Как? Ничего? Вспомни хорошенько. Что он очень хорошо знал старого графа, очень коротко его знал, любил его, любил как сын...

Даниэль. Нечто подобное я, помнится, слышал от него.

Франц (бледнея). Он говорил, он действительно говорил это? Как, скажи мне? Он говорил, что он мой брат?

Даниэль (пораженный). Что, господин? Нет, этого он не говорил. Но, когда барышня водила его по галлерее—я как раз вытирал там пыль с картин—он вдруг остановился перед портретом покойного графа, как будто пораженный громом. Барышня показала на портрет и сказала: «превосходный человек!» «Да, превосходный человек!»—ответил он, вытирая глаза.

Франц. Слушай, Даниэль! Ты знаешь, что я всегда был добрым господином для тебя,—я давал тебе пищу и одежду и во всех работах щадил твою слабость и старость.

Даниэль. Да вознаградит вас за это Господь Бог, и я всегда служил вам честно.

Франц. Я это именно и хотел сказать. Ты никогда в жизни не противоречил мне, потому что ты слишком хорошо знаешь, что ты обязан мне послушанием во всем, что я тебе прикажу.

Даниэль. Во всем и от всего сердца, если это не противно Богу и моей совести.

Франц. Глупости, глупости! Не стыдно ли тебе? Старый человек и верит таким святочным сказкам. Полно, Даниэль! Это была глупая мысль. Ведь я господин. Меня накажут Бог и совесть, если только Бог и совесть существуют.

Даниэль (всплеснув руками). Милосердное небо!

Франц. Во имя твоего послушания—понимаешь ли ты это слово?—во имя твоего послушания, приказываю тебе: завтра граф не должен быть в живых.

Даниэль. С нами крестная сила! Почему?

Франц. Во имя своего слепого послушания! И я полагаюсь в этом на тебя.

Даниэль. На меня? Мать Пресвятая Богородица! На меня! Что же я, старий, сделал такого дурного?

Франц. Тут нечего долго думать, твоя судьба в моих руках. Хочешь изнывать всю оставшую жизнь в глубочайших из моих подземелий, где голод заставит тебя грызть свои собственные кости, а жгучая жажда принудит пить свою собственную кровь? Или хочешь есть свой хлеб в мире и иметь покой в старости?

Даниэль. Как, господин? Мир и покой в старости—для убийцы?

Франц. Отвечай на вопрос!

Даниэль. Мои седины, мои седины!

Франц. Да или нет?

Даниэль. Нет! Боже, умиლოსердись надо мной!

Франц (собираясь уходить). Хорошо, это тебе действительно понадобится. (Даниэль удерживает его и падает перед ним на колени).

Даниэль. Сжальтесь, господин, сжальтесь!

Франц. Да или нет?

Даниэль. Милостивый господин! Мне семьдесят один год, и я почитал отца и мать, и никогда в жизни никого не обманул на грош, и был тверд в вере; я прослужил в вашем доме сорок четыре года и жду теперь спокойного и мирного конца. Ах, господин, господин! (С жаром обнимает его колени) и вы хотите отнять у меня последнее утешение в смерти, хотите, чтобы угрызения совести не допустили меня прочесть последнюю молитву, чтобы я отошел в вечность преступником перед Богом и людьми? Нет, нет, мой милый, дорогой господин! Этого вы не хотите, вы не можете этого хотеть от семидесятилетнего старика.

Франц. Да или нет? К чему эта болтовня?

Даниэль. Я буду служить вам еще усерднее, буду работать до последних сил, как поленщик, буду раньше вставать, позже ложиться—о, я буду молиться за вас и утром и вечером, и Бог не отринет молитву старика.

Франц. Послушание паче поста и молитвы. Разве ты слышал когда-нибудь, чтобы палач церемонился, когда он должен привести приговор в исполнение?

Даниэль. О, да, это так! Но убить невинного... такого...

Франц. Разве я обязан отдавать тебе отчет? Разве топор спрашивает у палача, зачем так, а не иначе?.. Но, видишь, как я терпелив, я обещаю тебе награду за то, в чем ты обязался присягой.

Даниэль. Но присягая вам, я надеялся, что могу остаться христианином.

Франц. Без противоречий? Вот, даю тебе целый день на размышление. Обдумай еще раз. Счастье или несчастье — слышишь, понимаешь?

Беличайшее счастье или крайняя степень несчастья! Я изобрету небывалые пытки.

Д а н и э л ь (после некоторого размышления). Я это сделаю; завтра я это сделаю. (Уходит).

Ф р а н ц. Искушение сильно, а он не рожден мучеником за свою веру... Итак—на здоровье, господин граф! По всей вероятности, вы завтра вечером скушаете ваш последний обед перед смертью. Все дело в том, как на это смотреть, и дурак тот, кто смотрит на это во вред своей выгоде. Отцом, который, может быть, выпил лишнюю бутылку вина, овладевает желание—и из этого выходит человек, а человек, разумеется, последнее, о чем думают при всей этой геркулесовой работе. А теперь мной овладевает желание—и при этом умирает человек, и, конечно, здесь больше разума и преднамеренности, чем их было там, при его зачатии... А если рождение человека есть дело скотского побуждения, случайности, то почему же смотреть на отрицание этого рождения, как на что-то, имеющее большое значение? Да будет проклята глупость наших кормилиц и нянек, которые искажают нашу фантазию страшными сказками и запечатлевают в нашем неокрепшем мозгу ужасные картины суда Божия, которые невольно заставляют человека содрогаться, leden его кровь, препятствуют самой смелой его решимости и оковывают наш пробуждающийся разум цепями суеверного мрака... Убийство! Как будто целый ряд фурий летает вокруг этого слова! А, между тем, природа просто создала одним человеком меньше... не перевязали пуповины при рождении... и вся фантазматическая история исчезла. Было нечто и стало ничто.

Как будто это не все равно, что не было ничего и не стало ничего, а ни о чем ни стоит и говорить... Человек выходит из грязи, бродит некоторое время в грязи, производит грязь и опять превращается в грязь и гниет там, пока не пристанет, в конце концов, отвратительной грязью к подошвам своего правнука. Тут и конец песни—грязный круг человеческого назначения, а поэтому—счастливого пути, милый братец! Желчный подагрический моралист, совесть, может прогонять морщинистых баб из публичных домов и мучить старых ростовщиков на смертном одре. У меня она никогда не получит аудиенции. (Уходит).

Сцена III.

Другая комната в замке.

Разбойник Моор с одной стороны, Даниэль с другой.

М о о р (торопливо). Где фрейлейн?

Д а н и э л ь. Милостивый господин! позвольте бедному человеку попросить вас о чем-то.

М о о р. Я исполню твою просьбу: чего ты хочешь?

Д а н и э л ь. Немногого и всего, так мало и однако, так много... Позвольте мне поцеловать вашу руку!

М о о р. Не нужно этого делать, добрый старик (обнимает его), я мог бы назвать тебя отцом!

Д а н и э л ь. Вашу руку, вашу руку, прошу вас.

М о о р. Не делай этого!

Д а н и э л ь. Я должен! (Схватывает его руку, быстро взглядывает на нее и падает перед ним на колени). Милый, дорогой Карл!

М о о р (пугается, потом овладевает собой и притворяется удивленным). Друг, что ты говоришь? Я тебя не понимаю.

Д а н и э л ь. Да, да, отрицайте это, притворяйтесь! Хорошо, хорошо! Вы все-таки мой дорогой, любимый господин... Слава Богу, что он мне, старику, дал еще одну радость... дурак я, что я вас сразу не узнал... Ах ты, Царь небесный! Так вы вернулись, а старый господин в земле, а вы вот опять здесь... Каким же я был слепым ослом (ударяет себя по голове), что с первого взгляда... Ах, Господи! Кто бы мог подумать! О чем я со слезами молился... Иисусе Христе! вот он стоит передо мной живой и здоровый в этой старой комнате!

М о о р. Что это за речи? Не в горячечном ли вы бреду? Или вы хотите, может быть, разыграть передо мной роль из комедии?

Д а н и э л ь. Стыдитесь, стыдитесь! Не хорошо так смеяться над старым слугой... Этот шрам! А, вы еще помните? Великий Боже! Какого страху вы мне нагнали... Я вас так любил всегда, а вы чуть-чуть не причинили мне такого горя... Вы сидели у меня на коленях, помните?... Там, в круглой комнате... помните, шалун? Ну, конечно, вы это забыли... и кукушку забыли, которую вы так любили слушать? Подумайте только! Кукушку-то разбили, разбили на мелкие кусочки—старая Суза разбила ее, когда мела комнату.. и вот сидели вы у меня на коленях и закричали: «держи правей!», я и побежал, чтобы принести вам вашу лошадку... Господи Иисусе! И зачем только я, старый осел, убежал?

Меня точно варом обдало, когда я услышал в сенях ваши вопли, бросился назад, а у вас кровь так и льется, и вы лежите на полу и... Пресвятая Богородица! мне как будто ушат ледяной воды за ворот вылили... но так всегда бывает, если не глядеть за детьми в оба. Господи Боже, а если бы попало в глаз... и рука-то была правая. В жизнь свою, сказал я, не дам больше ребенку ножа или ножниц, или чего-нибудь острого в руки... К счастью, еще не было дома ни господина, ни госпожи... да, да, это на всю жизнь будет мне наукой, сказал я... Господи Боже, Господи Боже! я мог лишиться места, я мог... Да простит вам Бог, безбожное дитя, но слава Богу! Все прошло благополучно, остался только шрам.

М о о р. Я не понимаю ни слова из того, что ты говоришь.

Д а н и э л ь. Да, да, смотри, пожалуй? А ведь было время?... Сколько раз совал я вам, бывало, печенье или бисквит или пирожное—я ведь всегда любил вас больше всех—а помните, что вы мне говорили там, к конюшне, когда я посадил вас на рыжую лошадь старого господина и пустил вас покататься по большому лугу? «Даниэль! сказали вы, дай мне только вырасти, Даниэль, тогда ты будешь моим управляющим и поедешь со мной в карете».—Да,—ответил я, смеясь,—если Бог продлит мне веку и даст здоровья и если вы не будете стыдиться старика, тогда я попрошу вас очистить мне тот домик в деревне, он уж давно стоит пустой; купил бы я себе ведер двадцать вина и начал бы хозяйничать на старости лет.—Да, смейтесь, смейтесь! Что, господин мой лодой, вы все это забыли? Старика не хотят больше знать, смотрят, как на чужого, так важно... а все-таки вы мой золотой барин,—конечно,

вы были немножко легкомысленны—не во гнев вам будь сказано! как обыкновенно бывает молодежи... в конце концов, все еще может уладиться.

М о о р (бросается ему на шею). Да, Даниэль, я не хочу более скрывать! Я твой Карл, твой погибший Карл... Что делает моя Амалия?

Д а н и э л ь (начинает плакать). Мне, старому грешнику, привелось еще дожить до такой радости... и покойный господин напрасно горевал! На покой, на покой, седая голова! Дряхлые кости, идите с миром в могилу! Мой господин и повелитель жив, я видел его своими глазами!

М о о р. И он сдержит, что обещал: возьми это, честный старик, за рыжую лошадь в конюшне (заставляет его взять туго набитый кошелек). Не забыл я старика.

Д а н и э л ь. Как? Что вы делаете? Слишком много, вы ошиблись.

М о о р. Я не ошибся, Даниэль. (Даниэль хочет упасть на колени). Встань, скажи мне, что делает моя Амалия?

Д а н и э л ь. Да наградит вас Бог, да наградит вас Бог! О, Господи Боже! Ваша Амалия, о, она не переживет этого, она умрет от радости!

М о о р (в волнении). Она не забыла меня?

Д а н и э л ь. Забыть? Что вы опять говорите? Забыть вас? Если бы вы тут были, если бы вы видели, что с ней было, когда пришло известие о вашей смерти, которое распространил мой теперешний господин...

М о о р. Что ты говоришь? Мой брат...

Д а н и э л ь. Да, ваш брат, теперешний господин, ваш брат... я расскажу вам об этом в другой раз, когда будет время... и как она его спрова-

живала, когда он ей каждый Божий день делал предложение и хотел сделать ее госпожой в замке. О, я должен пойти к ней, сказать ей, отнести ей весть. (Хочет идти).

М о о р. Стой, стой! Она не должна этого знать! Никто не должен этого знать! И мой брат тоже...

Д а н и э л ь. Ваш брат? Нет, клянусь Богом, он не должен этого знать! Он—ни в каком случае! Если он уже не знает больше, чем нужно... О, я вам говорю, есть дурные люди, дурные братья, дурные господа, но даже за все золото моего господина я не хотел бы быть дурным слугой... Теперешний господин считал вас мертвым.

М о о р. Гм! Что ты там бормочешь?

Д а н и э л ь (тише). Конечно, когда так некстати воскресают... Ваш брат был единственным наследником покойного господина...

М о о р. Старик! Что ты там бормочешь сквозь зубы, как будто какая-то чудовищная тайна не хочет сойти с твоего языка, а между тем она должна быть высказана? Говори яснее!

Д а н и э л ь. Но я лучше буду грызть от голоду свои старые кости, буду пить от жажды свою собственную кровь, чем заслужу полное довольство убийством! (Быстро уходит).

М о о р (содрогаясь, после молчания, полного ужаса). Обманут, обманут! Как будто молния осветила мою душу! Мошенические уловки! Небо и ад! Не ты, отец! Мошенические уловки! Убийца, разбойник, благодаря мошенническим уловкам! Он очернил меня в его глазах! Он подделывал, перехватывал мои письма... его сердце было полно любви... О, я, чудовище-глупости—его отцов-

ское сердце было полно любви—о, низость, низость! Мне стоило только упасть к его ногам... стоило только пролить несколько слез—о, я, жалкий, жалкий, жалкий глупец! (Ударяясь о стену). Я мог бы быть счастливым—о, подлость, подлость! Счастье моей жизни мошеннически украдено! (В бешенстве бежит взад и вперед). Убийца, разбойник, благодаря мошенническим уловкам!.. Он даже не сердился. Ни одной мысли о проклятии не было в его сердце... О, злодей! Непостижимый, низкий, гнусный злодей!

(Косинский входит).

Косинский. Ну, атаман, где ты? Что случилось? Ты хочешь остаться здесь еще дольше, как я замечаю?

Моор. В путь! Седлай лошадей! До солнечного заката мы должны быть за границей!

Косинский. Ты шутишь.

Моор (повелительно). Живей, живей! Не мешкай, оставь здесь все! И чтобы ни один глаз тебя не видел.

(Косинский уходит).

Моор. Я бегу из этих стен. Малейшее промедление может привести меня в бешенство, а он—сын моего отца... Брат, брат! Ты сделал меня несчастнейшим человеком на земле; я тебя никогда не оскорблял; ты поступил не по-братски... Пожинай спокойно плоды твоего злодеяния, мое присутствие не должно больше отравлять твое наслаждение... но, конечно, ты поступил не по-братски. Пусть мрак навеки покроет твое преступление и пусть смерть не вызовет его опять на свет.

(Косинский входит).

Косинский. Лошади оседланы, можно садиться, если хотите.

Моор. Мучитель, мучитель! Зачем так поспешно? Неужели я не увижу ее больше?

Косинский. Я опять расседлаю, если хотите; ведь вы же мне велели спешить из всех сил.

Моор. Еще один раз! Еще одно последнее прощанье! Я должен выпить до дна ядовитый напиток этого блаженства, а потом... стой, Косинский! еще десять минут... подожди меня за замком... и мы помчимся отсюда!

Сцена IV.

В саду.

Амаллия. «Ты плачешь Амаллия?» И он сказал это таким голосом, таким голосом!.. Мне показалось, что вся природа вдруг помолодела... весна любви, которой я когда-то наслаждалась, опять воскресла при этом голосе! Соловей пел, как и тогда... цветы благоухали, как тогда... и я лежала в упоении в его объятиях... А, лукавое, неверное сердце! Так ты хочешь извинить свое вероломство! Нет, нет, прочь из моей души, преступный образ!.. Я не нарушила моей клятвы, ты, мой единственный! Прочь из души моей изменнические, безбожные желания! В сердце, где царит Карл, не должно быть места ни для кого из смертных... Но почему же моя душа постоянно против моей воли стремится к этому чужестранцу? Почему он так тесно сливается с образом моего единственного? Почему он является постоянным спутником моего един-

ственного? «Ты плачешь, Амалия?» О, я буду избегать его!.. избегать! Мои глаза никогда не должны видеть этого чужеземца!

(Разбойник Моор открывает калитку).

Амалия *(вздрагивает)*. Слышишь, слышишь? Не скрипнула ли калитка? *(Она замечает Карла и вскакивает)*. Он?.. Куда?.. Что?.. Я как будто приросла к месту, я не могу бежать... Не покидай меня, милосердый Боже! Нет, ты не вырвешь у меня моего Карла! В моей душе не места двум божествам, я смертная девушка! *(Вынимает портрет Карла)*. Ты, мой Карл, будь моим добрым гением, защити меня от этого пришельца, смутившего мою любовь! Смотреть на тебя, смотреть, не отрываясь... и прочь все преступные взгляды на этого. *(Сидит молча, неподвижно устремив глаза на портрет)*.

Моор. Вы здесь, фрейлейн?.. и так печальны? на этом портрете слезы? *(Амалия не отвечает)*. А кто же тот счастливец, который вызывает слезы из глаз ангела? Не могу ли и я посмотреть на этого блаженнейшего из смертных... *(хочет взглянуть на портрет)*.

Амалия. Нет... да... нет...

Моор *(отскакивая)*. А!.. А заслуживает ли он, чтобы его так боготворили? Заслуживает ли он?..

Амалия. Если бы вы его знали!

Моор. Я завидовал бы ему.

Амалия. Поклонялись бы ему, хотели бы сказать.

Моор. А!

Амалия. О, вы так любили бы его... в его лице было так много, так много... в его глазах...

в звуке его голоса, так много такого, что сходно с вами... что я так люблю...

Моор *(смотрит в землю)*.

Амалия. Здесь, где вы стоите, стоял он тысячу раз... и подле него та, которая рядом с ним забывала небо и землю... здесь наслаждались его глаза красующейся вокруг него природой... она, казалось, чувствовала этот благодарный, награждающий взгляд своего лучшего создания и хорошела от его благосклонности... здесь он очаровывал небесной музыкой воздушных слушателей... здесь, на этом кусте срывал он розы, он срывал эти розы для меня... здесь, здесь лежал он в моих объятиях, его уста горели на моих, и цветы радостно умирали под ногами любящих...

Моор. Его нет больше?

Амалия. Он носится по бурным морям — любовь Амалии сопровождает его... Он блуждает по непроходимым песчаным пустыням — любовь Амалии превращает жгучий песок под его ногами в зеленую траву и покрывает цветами дикие кустарники... Полуденное солнце жжет его непокрытую голову, северный снег леденит его подошвы, буря и град бьют ему в лицо, а любовь Амалии убаюкивает его во время бури... Моря, и горы, и горизонты лежат между любящими, но души их освобождаются из пыльной тюрьмы и встречаются в раю любви. Вы, кажется, печальны, граф?

Моор. Слова любви заставляют оживать также и мою любовь.

Амалия. Как? Вы любите другую? Увы! что я сказала?

Моор. Она считала меня умершим и оставалась верна мертвому... она услышала, что я жив, и пожертвовала мне венцом святой. Она дума-

ет, что я скитаюсь в пустынях, среди бедствий, и любовь ее летит через пустыни и бедствия вслед за мною. Ее зовут также Амалией, как и вас, фрейлейн.

Амалия. Как я завидую вашей Амалии.

Моор. О, она несчастная девушка: ее любовь принадлежит погибшему и никогда не получит награды.

Амалия. Нет, она получит награду в небесах. Не говорят ли, что есть лучший мир, где печальные радуются, а любящие встречаются снова?

Моор. Да, мир, где спадает покрывало, и любящие встречаются ужасным образом—вечность его имя... Моя Амалия несчастная девушка.

Амалия. Несчастливая, хотя вы ее любите?

Моор. Несчастливая, потому что она любит меня! А что, если я убийца? Что, если бы при каждом поцелуе ваш возлюбленный мог насчитывать вам по убийству? Горе моей Амалии! Она несчастная девушка!

Амалия (радостно вскакивая). А! Какая я счастливая! Мой единственный, он отражение Божества, а Божество есть милость и сострадание! Он не мог видеть, как страдает даже муха... Его душа так далека от всякой кровавой мысли, как полдень от полуночи.

Моор (быстро отходит к кустам и неподвижно смотрит на окрестность).

Амалия (поет и играет на лютне).

Снова ль Гектор мчится в бурю брани,
Где с булатом в неприступной длани
Мстительный свирепствует Пелид?..

Кто же призрит Гекторова сына,
Кто научит долгу властелина,
Страх к богам в младенце поселит?..

Моор (молча берет лютню и поет).

Мне ль томиться в тягостном покое?..
Сердце жаждет прохлажденья в бое...
(Бросает лютню и убегает).

Сцена V.

II

Близлежащий лес. Ночь. Старый разрушенный замок посредине.

Шайка разбойников расположилась на земле.

Разбойники (поют).

Резать, грабить, куролесить—
Так привыкли мы играть.
Завтра могут нас повесить,
Нынче—будем пировать.

Мы жизнь разгульную ведем,
Жизнь полную веселья:
Мы ночью спим в лесу густом,
Нам бури, ветер—нипочем,
Что ночь—то новоселье.
Меркурий, наш веселый бог,
Нас научил всему, как мог.

Мы нынче у попов кутим,
А завтра—в путь-дорогу.
Что нам ненадобно самим,
То жертвуем мы Богу.

И только сочный виноград
У нас в башках забросит,—

Мы поднимаем целый ад,
И нам тогда сам чорт не брат,
И все вверх дном заходит,

И стон зарезанных отцов,
И матерей напрасный зов,
И вой детей, и женщин крики
Для нас приятнее музыки!

О, как они страшно визжат под ножом,
Как кровь у них бьется из горла ручьем,
А нас веселят их кривлянья и муки:
В глазах у нас красно, в крови у нас руки.

Когда ж придет мой смертный час,—
Палач, кончай скорее!
Друзья! всех петля вздернет нас.
Кутите ж веселее!
Глоток на дорогу! Скорее вина!
Ура! ай люли! Смерть на людях красна!

Швейцер. Наступает ночь, а атамана нет.
Рацман. А ведь он обещал возвратиться
к нам ровно в восемь часов.

Швейцер. Если с ним что-нибудь случит-
ся... Товарищи! мы тогда сожжем все и пере-
бьем даже младенцев.

Шпигельберг (отводит Рацмана в сто-
рону). На одно слово, Рацман.

Шварц (Гримму). Не послать ли нам шпи-
онов?

Гримм. Оставь ты его! Он захватит такую
добычу, что нам будет стыдно.

Швейцер. Ошибаешься, чорт возьми! Не
такой у него был вид, когда он уходил от нас,
чтобы на уме у него могли быть проказы. Разве
ты забыл, что он сказал, когда вел нас через

степь? «Кто украдет хоть одну репу с поля и я
это узнаю, тому не сносить головы, не будь я
Моор!» Мы не смеем грабить.

Рацман (тихо Шпигельбергу). К чему ты
клоняешь—говори яснее!

Шпигельберг. Тс! тс! Я не знаю, что
у нас с тобой за понятия о свободе, когда мы
везем воз, как волю, и при этом удивительно
много рассуждаем о независимости... Мне это не
нравится.

Швейцер (Гримму). Что тут затевает эта
пустая голова?

Рацман (тихо Шпигельбергу). Ты гово-
ришь об атамане?

Шпигельберг. Тс!.. тише, ты! У него
есть уши и здесь, между нами... А таман, го-
воришь ты? Кто поставил его атаманом над на-
ми? Разве он не завладел титулом, который по
праву принадлежит мне? Разве для того мы ста-
вим свою жизнь на карту, для того переносим
все невзгоды судьбы, чтобы, в конце концов,
иметь счастье быть крепостными раба? Крепост-
ные, когда мы могли бы быть властелинами?..
Клянусь Богом, Рацман, мне это никогда не нра-
вилось!

Швейцер (обращаясь к другим). Да, ты
вот настоящий герой! лягушек побивать камня-
ми... Уже один звук его носа, когда он смор-
кается, может загнать в щель...

Шпигельберг (Рацману). Да, и уже це-
лые годы я помышляю об этом: это должно
измениться. Рацман, если ты таков, каким я тебя
всегда считал... Рацман! Его не... его считают на-
половину погибшим... Рацман, мне кажется, что
для него пришел черный день... Как? Ты даже не
краснееешь, когда колокол возвещает тебе сво-

боду? У тебя не хватает даже мужества понягь смелый намек?

Р а ц м а н. А, сатана! Что ты меня искушаешь?

Ш п и г е л ь б е р г. Зацепило?.. Хорошо! Так пойдем! Я заметил, куда он пошел... пойдем! Два пистолета редко дают промах, а тогда... тогда мы первые задушим младенца. (Хочет его увлечь).

Ш в е й ц е р (выхватывает в бешенстве нож). А, бестия! Ты как раз во-время напоминаешь мне 'о богемских лесах!.. Не ты ли был тем трусом, который начал трястись, когда закричал: неприятель идет! Я поклялся тогда своей душой... Умирай. убийца. (Закалывает его).

Р а з б о й н и к и (в волнении). Убийство, убийство! Швейцер... Шпигельберг... Разнимите их!..

Ш в е й ц е р (бросает на него нож). Вот! И издыхай так... Тише, товарищи... Не стоит обращать внимания на такую безделицу... Эта бестия всегда ненавидела атамана, а у самого нет ни одного шрама на всей коже... Еще раз говорю вам—успокойтесь... А! мошенник... Он хочет нападать на людей исподтишка... исподтишка! Разве за тем мы обливается потом, чтоб нас отправляли на гот свет, как подлецов? Бестия ты! Неужели мы за тем прошли огонь и воду, чтобы напоследок подохнуть, как крысы?

Г р и м м. Но, чорт возьми... товарищ, что же у вас вышло? Атаман придет в бешенство.

Ш в е й ц е р. Предоставь это мне... А ты, безбожный (к Рацману), ты был его сообщником, ты! Убирайся с глаз моих... Шуфтерле по-

ступал так же, за это он и повешен теперь в Швейцарии, как ему это предсказал атаман.

(Слышен выстрел).

Ш в а р ц (вскакивает). Чу! выстрел из пистолета! (Еще выстрел). Еще! Это атаман!

Г р и м м. Терпение, терпение! Он должен выстрелить в третий раз. (Третий выстрел).

Ш в а р ц. Это он! он!..—Спрячься, Швейцер! Предоставь нам ответить ему! (Стреляют).

(Моор и Косинский входят).

Ш в е й ц е р (идет им навстречу.) Добро пожаловать, атаман! Я немножко погорячился без тебя. (Подводит его к труп). Будь ты судьей между мной и им: он хотел убить себя исподтишка.

Р а з б о й н и к и (пораженные). Как? Атамана?

М о о р (стоит погруженный в созерцание; потом с силою). О, непостижимый перст мстительной Немезиды *)! Не он ли увлек меня своим пением сирены **)?. Посвяти этот нож мрачной богине возмездия!.. Это не ты сделал, Швейцер.

Ш в е й ц е р. Клянусь Богом! Я действительно это сделал, и это не самое худшее, что я сделал в жизни, чорт возьми. (С неудовольствием отходит).

М о о р (затумчиво). Я понимаю... Царь Небесный... я понимаю... Листья спадают с де-

*) Немезида—греческая богиня судьбы, карающая людей за преступления.

**) Сирены—сказочные морские существа, изображающиеся в виде женщин с рыбьим хвостом, пением своим губили моряков (см. в „Одиссее“ Гомера).

ревьев... и моя осень пришла... Уберите его с глаз долой! (Тело Шпигельберга уносят).

Гримм. Отдай нам приказание, атаман— что нам делать дальше?

Моор. Скоро... скоро все исполнится... Дайте мне мою лютню... Я потерял себя с тех пор, как побывал там... Мою лютню, говорю я... я должен пением разбудить свою силу... Оставьте меня!

Разбойники. Уже полночь, атаман!

Моор. И все-таки это были только театральные слезы... Я должен услышать песню римлян, чтобы вновь пробудить мой спящий гений... Лютню мне... уже полночь, говорите вы?

Шварц. Да, уж скоро. Сон с ног валит. Трое суток мы не смыкали глаз.

Моор. Отрадный сон сходит, значит, и на глаза мошенников? Почему же бежит он от меня? Я никогда не был ни трусом, ни подлецом... Ложитесь спать, завтра мы двинемся дальше.

Разбойники. Покойной ночи, атаман. (Располагаются на земле и засыпают).

(Глубокая тишина).

Моор поет.

Брут.

Привет мой вам, вы, мирные долины,
Последнего примите из римлян!
С Филиппов, где сражались исполины,
Душа взвиздась к вам из отверстых ран.
Мой Кассий где ты?—Рим наш погибает.
Мои полки заснули, спят во мгле,
Твой Брут к теням покойников вызывает!
Для Брута нет уж места на земле.

Цезарь.

Чья это тень с печатью отверженья
Задумчиво блуждает по горам? —
О, если мне не изменяет зренье,
Походка римлянина видится мне там! —
Давно ль простился Тибра сын с землею?
Стоит иль пал наш седьмихолмный Рим?
Как часто плакал я над сиротою,
Что больше нет уж Цезаря над ним!

Брут.

А грозный призрак, ранами покрытый!
Кто потревожил тень твою, мертвец?
Ступай к брегам печального Коцита.
Кто прав из нас,—покажет то конец.
На алтаре Филиппов погасает
Святой свободы жертвенная кровь,
Да, Рим над трупом Брута издыхает —
И Брут его не оживит уж вновь!

Цезарь.

И умереть от твоего кинжала!..
И ты—и ты поднять мог руку, Брут?
О, сын, то был отец твой! Сын, подпала
Земля бы вся под царский твой трибун!
Ступай! ты стал великим из великих,
Когда отца кинжалом поразил.
Ступай! и пусть услышат мертвых лики,
Что Брут мой стал великим из великих,
Когда меня кинжалом поразил.
Ступай!—и знай, что мне в реке Забвенья
От дикой скорби нету исцеленья,
Хврон, скорей от этих диких скал!

Б р у т.

Постой отец! среди земных творений
Я одного лишь только в мире знал,
Кто с Цезарем бы выдержал сравненье:
Его своим ты сыном называл.
Лишь Цезарь Рим был в силах уничтожить,
Один лишь Брут мог Цезаря столкнуть;
Где Брут живет, там Цезарь жить не может.
Иди, отец!—и здесь наш розен путь.
(Кладет лютню и начинает ходить взад и вперед
в глубокой задумчивости).

Кто мне поручится? Все так темно... запутан-
ные лабиринты... никакого выхода... никакой
путеводной звезды... если все кончится с моим
последним вздохом—кончится, как пустая игра
марионеток... Но зачем же эта горячая жажда
счастья? Зачем этот идеал недости-
жимого совершенства? Зачем отсрочка
недоконченных планов? Если ничтожное нажатие
этого жалкого предмета (поднимает пистолет к
лицу) равняет мудреца с глупцом, храброго с
трусом, благородного с плутом?.. Ведь в бездуш-
ной природе такая божественная гармония,
почему же в разумной может быть такая дисгар-
мония?.. Нет, нет! есть что-то большее, потому
что я еще не был счастлив.

Вы думаете, что я буду дрожать, духи убитых
мною! Я не буду дрожать. (Сильно дрожа). Ваш
боязливый предсмертный крик, ваше почернев-
шее от удушья лицо, ваши зияющие раны ведь
составляют только звенья одной непрерывной
цепи судьбы и находятся, наконец, в зависимо-
сти от моих праздничных вечеров, от хапризов

моих нянек и наставников, от темперамента
моего отца, от крови моей матери... (Содро-
гается). Зачем мой Перилл *) сделал из меня
быка, который сжигает человечество в моем
раскаленном чреве? (Приставляет ко лбу писто-
лет).

Время и вечность—соединенные друг
с другом одним только мгновением! Ужасный
ключ, который запирает за мной тюрьму жизни,
а передо мной открывает обитель вечной ночи—
скажи мне... о, скажи мне—куда, куда ты
меня поведешь? Чуждая, неисследованная стра-
на!.. Смотри, человечество изнемогает перед
этим образом, сила смертного ослабевает, и
фантазия, насмешливая обезьяна чувств, моро-
чит наше легкое прихотливыми тенями...
Нет, нет! Человек не должен колебаться... Будь,
чем хочешь, безымянное нечто по ту
сторону жизни... если только мне останется вер-
ным мое я... будь, чем хочешь, если только я
возьму с собой свое я... Внешние предметы это
только окраска человека... я сам—мое небо и
мой ад.

Если бы ты предоставил мне одному какой-
нибудь испепеленный мир, который ты изгнал от
глаз своих, где одинокая ночь и вечная пустыня
были бы единственным моим зрелищем,—я насе-
лил бы эту молчаливую пустыню своими фанта-
зиями, и целая вечность была бы в моем распо-
ряжении, чтобы расчленивать спутанную картину
всеобщего бедствия... Или ты хочешь через все
новые и новые рождения, через все новые сцены

*) Перилл — медник, отливший для тирама Фаларида мед-
ного быка, в котором поджаривали преступников.

несчастия довести меня постепенно до уничтожения? Но разве я не могу те жизненные нити, которые сотканы для меня по ту сторону, разорвать так же легко, как и эти? Ты можешь обратить меня в ничто—этой свободы ты не можешь у меня отнять. (Он заряжает пистолет. Внезапно останавливается). Неужели я должен умереть из страха перед мучительной жизнью? Неужели я позволю несчастью одержать надо мной победу?.. Нет, я буду терпеть. (Отбрасывает пистолет). Пусть муки разобьются о мою гордость! Я выпью чашу до дна. (Становится все темнее).

Герман (выходя из сада). Чу! чу! как страшно кричит филин! В селе бьет двенадцать... Хорошо, хорошо... Злодей спит—в этой глуши некому подслушивать. (Подходит к замку и стучит). Выходи, страдалец, обитатель башни. Твой ужин готов.

Моор (неслышно отступая). Что это значит?

Голос из замка. Кто там стучит? А? Это ты, Герман, мой ворон? ²⁹.

Герман. Это я, Герман, твой ворон. Выходи к решетке и посмотри. (Совы кричат). Ужасно кричат твои ночные товарищи, старик. Вкусно ли?

Голос. Я очень проголодался. Благодарение тебе, пославшему ворона, за хлеб в пустыне! А как поживает мое милое дитя, Герман?

Герман. Тише... слушай... как будто храпят! Ты ничего не слышишь?

Голос. Что? Разве ты что-нибудь слышишь?

Герман. Ветер воет в щелях башни—ночная музыка, от которой зуб на зуб не попадает и ногти синеют... Послушай же... мне все ка-

жется, будто я слышу храп. У тебя есть общество, старик... ух! ух!

Голос. Ты что-нибудь видишь?

Герман. Прощай... прощай... Страшное это место... Сойди вниз... там, вверху твой помощник, и мститель... Проклятый сын! (Хочет бежать).

Моор (в ужасе выходит). Стой!

Герман (вскрикивает). О, горе мне!

Моор. Стой, говорю я!

Герман. Увы! увy! увy! Теперь все погибло!

Моор. Стой! Говори! Кто ты? Что ты здесь делаешь? Говори!

Герман. Сжальтесь, о, сжальтесь, суровый господин! Выслушайте только одно слово, прежде чем убьете меня.

Моор (обнажая шпагу). Что я услышу?

Герман. Конечно, вы запретили мне это под страхом смерти... но я не мог иначе... я не должен был... есть Бог на небе... Там ваш родной отец... мне было жаль его... убейте меня!

Моор. Здесь какая-то тайна... Говори! Говори! Я хочу знать все.

Голос из замка. Увы! увy! Это ты говоришь, Герман? С кем ты говоришь, Герман?

Моор. Внизу кто-то есть... Что здесь происходит? (Подбегает к башне). Кто там? Заключенный, которого отвергли люди? Я освобожу его от цепей. Голос! Опять! Где дверь?

Герман. О! сжальтесь, господин... не идите дальше... из сострадания, проходите дальше! (Заступает ему дорогу).

Моор. За четырьмя замками! Отойди... все должно открыться... Теперь в первый раз приди мне на помощь, воровское искусство

ство! (Вынимает инструменты и взламывает дверь).

(Из глубины поднимается старик, иссохший, как скелет).

Старик. Сострадание к несчастному! Сжальтесь!

Моор (отскакивает в ужасе). Это голос моего отца!

Старик Моор. О, Боже, благодарю тебя! Пришел час освобождения!

Моор. Дух старого Моора! Что потревожило тебя в могиле? Может быть, ты унес с собой на тот свет какой-нибудь грех, который преграждает тебе путь к воротам рая? Я прикажу служить обедни, чтобы твой блуждающий дух мог вернуться в свою обитель. Может быть, ты закопал в землю золото вдов и сирот, и оно заставляет тебя со стенами скитаться здесь в полупочный час? Я вырву подземный клад из когтей волшебного дракона, хотя бы он изрыгал на меня жгучее пламя и грыз зубами мою шпагу... Или ты пришел для того, чтобы в ответ на мои вопросы открыть мне загадочную тайну вечности? Говори, говори! Ничто не заставит меня побледнеть от страха.

Ст. Моор. Я не дух. Дотронься до меня, я живу—о, какую жалкою, несчастною жизнью!

Моор. Как? Ты не погребен?

Ст. Моор. Я не погребен... Мертвая собака лежит в гробнице моих отцов; а я... уже целых три месяца изнываю я в этих мрачных подземных сводах, которые никогда не освещает луч солнца, не обвеет теплый ветерок; ни один друг не навещает меня, только дикие вороны каркают здесь, да слышны кричат в полночь...

Моор. Силы небесные! Кто это сделал?
Ст. Моор. Не проклиная его! Это сделал мой сын Франц.

Моор. Франц? Франц? О, вечный хаос!

Ст. Моор. Если ты человек, и если в тебе есть человеческое сердце, избавитель, которого я не знаю, о! то выслушай горе отца, которое ему причинили его сыновья... уже три месяца жалуюсь я глухим стенам скал, но только пустое эхо отвечает моим жалобам. Поэтому, если ты человек, и если в тебе есть человеческое сердце...

Моор. Такая просьба могла бы вызвать диких зверей из их убежищ.

Ст. Моор. Я лежал больной и только что начал собираться с силами после тяжелой болезни, когда ко мне привели человека, который сказал мне, что мой старший сын, мой первенец, умер в бою; он принес с собой меч, озагренный его кровью, и его последние прощальные слова, что мое проклятие довело его до отчаяния, послало его в битву и на смерть.

Моор (в волнении отворачивается). Это очевидно! ³⁰.

Ст. Моор. Слушай дальше! При этом известии я лишился сознания. Меня, должно быть, сочли умершим: потому что когда я опять пришел в себя, я уже лежал в гробу и был обвит саваном, как мертвый. Я стал царапать крышку гроба. Ее сняли. Была глубокая ночь, мой сын Франц стоял передо мной. «Как!»—воскликнул он ужасным голосом: «так ты хочешь жить вечно?» и крышка гроба сейчас же захлопнулась опять. Страшное значение этих слов лишило меня сознания. Когда я опять очнулся, я почувствовал, что гроб подняли и повезли; ехали около полуночи. Наконец, его открыли... я стоял у входа в

это подземелье, передо мной стоял мой сын и тот человек, который принес мне окровавленный меч Карла... десять раз обнимал я его колени, просил, умолял, заклинал его... мольбы отца не тронули его сердце. «Спустите вниз старика! — прогремело из его уст: — он довольно пожил... и меня безжалостно столкнули, и мой сын Франц запер за мною двери.

М о о р. Это невозможно, невозможно! Вы, должно быть, ошиблись.

Ст. М о о р. Я не мог ошибиться. Слушай дальше, но не гневайся! Так пролежал я двадцать часов, и ни один человек не вспомнил о моем страдании. Никогда нога человека не вступает в эту пустынную местность, потому что давно ходит предание, будто призраки моих предков гремят в этих развалинах цепями и поют в полночь похоронные песни. Наконец, я услышал, что дверь опять отворилась, этот человек принес мне хлеб и воду и открыл мне, что я осужден на роковую смерть, и что он рискует жизнью, если узнают, что он меня кормит. Так влачил я жалкую жизнь все это долгое время; но постоянный мороз... зловоние моих нечистот... безграничное горе... подточили мои силы, мое тело исхудало; тысячу раз со слезами просил я Бога послать мне смерть; но, должно быть, мера моего наказания еще не исполнилась... или меня ждет еще, может быть, какая-нибудь радость, если я чудесным образом остался жив. Но я страдаю заслуженно... А мой Карл, мой Карл!.. у него еще не было седых волос...

М о о р. Довольно. Вставайте! Вы, пни, вы, ледяные глыбы! ленивые, бесчувственные сны! вставайте! Никто не хочет проснуться? (Стреляет из пистолета над спящими разбойниками).

Р а з б о й н и к и (вскакивают). Эй! вставайте! Что случилось?

М о о р. Неужели этот рассказ не пробудил вас от сна? Спящие вечным сном должны были бы проснуться от него! Смотрите! смотрите! Законы мира стали игрушкой, узы природы разрушены, старая вражда проснулась, сын убил своего отца!

Р а з б о й н и к и. Что говорит атаман?

М о о р. Нет, не убил! Это слово слишком мягко! Сын тысячу раз колесовал отца, сажал на кол, пытал, терзал его! Эти слова еще слишком человечны... от чего покраснел бы грех, перед чем содрогнулся бы каннибал, до чего со времени Эонов *) не доходил ни один дьявол... Сын своего собственного отца... о, посмотрите, посмотрите сюда! Он в обмороке... в это подземелье сын своего отца... холод, нагота... голод... жажда... О, смотрите же, смотрите!.. Это мой родной отец, говорю вам.

Р а з б о й н и к и (подбегают и окружают старика). Твой отец? Твой отец?

Ш в е й ц е р (почтительно приближается и опускается перед ним на колени). Отец моего атамана! Целую твои ноги! Мой кинжал в твоём распоряжении.

М о о р. Мщенье, мщенье, мщенье за тебя, жестоко оскорбленный, опозоренный старец! Так разрываю я отныне навеки братские узы (разрывает одежду сверху донизу). Так проклиная

*) Эоны — по учению древних религиозных философов — высшие божественные силы или духи. В переносном смысле — вечность, мудрость и т. д.

перед лицом неба каждую каплю братской крови! Услышите меня, месяц и звезды! Услышь меня, полночное небо, взиравшее на это позорное дело! Услышь меня, триединый грозный Бог, который господствует там над месяцем и отмщает и наказует там, в надзвездном мире, и пылает огнем среди ночи! Здесь преклоняю я колена... здесь, среди таинственного трепета ночи поднимая три пальца... здесь клянусь я—и пусть природа извергнет меня из своих пределов, как зло-вредное животное, если я нарушу свою клятву—я клянусь, что не увижу дневного света до тех пор, пока кровь отцеубийцы, пролитая перед этим камнем, не испарится солнцем. (Встает).

Разбойники. Это поступок дьявола! Еще говорят, что мы негодяи! Нет, клянусь драконами! Так дурно мы никогда не поступали.

М о о р. Да! и заклинаю вас ужасными словами тех, кто когда-либо пал от вашего кинжала, тех, кого пожрало мое пламя и раздавила моя обрушивавшаяся башня, пусть ни одна мысль об убийстве или грабеже не шевельнется в вашей душе, пока все ваши платья не окрасятся пурпуром и крови этого проклятого... Вам, конечно, никогда и не снилось, что вы—орудие высших сил? Спутанный клубок нашей судьбы разрешился! Сегодня, сегодня невидимая сила облагородила наше ремесло! Преклонитесь пред Тем, Кто определил вам этот высокий жребий, Кто привел вас сюда и удостоил вас стать грозными ангелами Его Страшного Суда! Обнажите головы! Преклоните колена в прахе и встаньте освященными! (Они встают на колени).

Ш в е й ц е р. Приказывай, атаман! Что мы должны сделать?

М о о р. Встань, Швейцер, и коснись этих священных кудрей. (Он подводит его к своему отцу и дает в руку локон его волос). Помнишь ли ты, как ты некогда разрубил голову богемскому всаднику, как раз тогда, как он занес надомной саблю, а я, задыхающийся и измученный борьбой, упал на колени? Тогда я обещал наградить тебя по-царски; до сих пор я не мог заплатить тебе этот долг.

Ш в е й ц е р. Правда, ты поклялся мне в этом, но пусть бы ты всегда оставался моим должником.

М о о р. Нет, теперь я хочу заплатить этот долг. Швейцер! такой чести, как тебе, не выпадало еще ни одному смертному!.. Отмсти за моего отца! (Швейцер встает).

Ш в е й ц е р. Великий атаман! Сегодня в первый раз ты заставил меня гордиться. Приказывай, где, как и когда должен я его убить?

М о о р. Минуты дороги, ты должен спешить... выбери достойнейших из шайки и веди их прямо к замку графа! Стащи его с постели, если он спит или лежит в объятиях сладострастия, вытащи его из-за стола, если он пьянствует, оторви его от распятия, если он, молясь, стоит перед ним на коленях. Но, говорю тебе, строго тебе внушаю—доставь мне его живым! Я изрублю в куски и отдам на с'едение голодным коршунам того, кто только оцарапает его кожу или коснется его волоска. Невредным должен я его получить, и если ты доставишь мне его живым и здоровым, ты получишь в награду миллион; я украду его у короля с опасностью жизни, а ты будешь свободен, как воздух... Если ты делаешь что-нибудь, — спешим!

Швейцер. Довольно, атаман, вот тебе моя рука: или я возвращусь с ним вьюгом, или совсем не возвращусь. Ангелы-избавители Швейцера, пойдете! (Уходит с своим отрядом).

Мор. Вы, остальные, рассейтесь в лесу!.. Я остаюсь.

ПЯТЫЙ АКТ.

Сцена I.

Анфилада комнат. Глубокая ночь.

Даниэль (идет с фонарем и дорожным узлом). Прощай, дорогой, родной дом... Много доброго и хорошего видел я здесь, пока был жив покойный господин... Я проливаю слезы над твоим давно истлевшим прахом!.. А этот требует от старого слуги... Этот дом был когда-то приютом для сирот и убежищем для покинутых, а сын превратил его в вертеп разбойников... Прощай, милый пол! Сколько раз подметал тебя старый Даниэль... Прощай, милая печь, тяжело с тобой расставаться старому Даниэлю... здесь все было тебе таким близким... больно тебе будет, старый Елиезер *)... Но сохрани меня, милосердный Бог, от сатанинского обмана и хитрости... Нищим пришел я сюда и нищим уйду отсюда... но душу свою я спасу.

(В то время как он хочет уйти, вбегает Франц в халате).

Даниэль. Господи помилуй! Мой господин! (Гасит фонарь).

Франц. Измена! измена! Духи выходят из могил... Царство мертвых проснулось от вечного сна и кричит мне: у б и й ц а! у б и й ц а!.. Кто там шевелится?

*) Елиезер — слуга библейского Авраама.

Д а н и э л ь (робко). Мать Пресвятая Бо-
родица! Это вы, господин, так страшно кричите
на весь дѣм, что все спящие вскакивают?

Ф р а н ц. Спящие? Кто велел вам спать?
Ступай, зажги свечку! (Даниэль уходит; входит
другой слуга). Никто не должен спать в этот
час. Слышишь, все должны встать... вооружить-
ся... все ружья должны быть заряжены... Ты ви-
дел, как они пронеслись по галлерее?

С л у г а. Кто, господин?

Ф р а н ц. Кто, глухая голова, кто? Ты спра-
шиваешь это так холодно, так равнодушно? У
меня дух захватило, как будто при головокру-
жении! Кто, ослиная голова! Кто? Духи и дьяво-
лы! Который час?

С л у г а. Ночной сторож только что прокри-
чал два.

Ф р а н ц. Что? Эта ночь, кажется, будет тя-
нуться до Страшного Суда? Ты не слышал шума
вблизи? Не слышал победного крика, топота ска-
чущих лошадей? Где Кар... где граф, хотел я
сказать?

С л у г а. Я не знаю, господин.

Ф р а н ц. Ты не знаешь? Ты тоже в этой
панике? Я вырву у тебя сердце из груди! Чорт
бы тебя побрал с твоим проклятым: я не знаю!
Ступай, позови пастора!

С л у г а. Милостивый господин!..

Ф р а н ц. Ты ворчишь? Ты медлишь? (Слуга
поспешно уходит). Как? И нищие в заговоре
против меня? Небо и ад! Все в заговоре против
меня!

Д а н и э л ь (входит со свечой). Господин
мой...

Ф р а н ц. Нет! Я не дрожу! Это был только
сон. Мертвые еще не встают... Кто говорит, что

я дрожу, что я бледен? Мне ведь так легко, так
хорошо.

Д а н и э л ь. Вы бледны, как смерть, ваш го-
лос дрожит и срывается.

Ф р а н ц. У меня лихорадка. Скажи пастору,
когда он придет, что у меня лихорадка. Я хочу
пустить себе кровь завтра, скажи это пастору.

Д а н и э л ь. Не прикажете ли накапать вам
на сахар бальзама?

Ф р а н ц. Накапай мне капель на сахар! Па-
стор придет не сейчас. Голос у меня дрожит и
срывается, дай мне капель на сахар!

Д а н и э л ь. Дайте мне ключи, я схожу вниз,
возьму в шкапу...

Ф р а н ц. Нет, нет, нет! Оставайтесь! Или я
пойду с тобой. Ты видишь, я не могу быть один!..
Видишь, я могу легко... упасть в обморок... если
останусь один. Оставь, оставь! Это пройдет,
останься.

Д а н и э л ь. О, вы серьезно больны.

Ф р а н ц. Да, конечно, конечно. Все дело в
этом. А болезнь туманит мозг и порождает ди-
кие и странные сны... Сны ничего не значат... Не
правда ли, Даниэль? Сны ведь являются от же-
лудка и сны ничего не значат—я как раз видел
забавный сон. (Падает в обморок).

Д а н и э л ь. Иисусе Христе! Что это? Ге-
орг! Конрад! Бастиан! Мартин! Да отзовитесь же!
(Трясет его). Мария, Магдалина и Иосиф! Да опо-
мнитесь же! Ведь этак скажут, что я его убил!
Господи, сжапись надо мной!

Ф р а н ц (в бреду). Прочь! прочь! Что ты
меня трясешь, ужасный скелет? Мертвые еще не
гетают...

Д а н и э л ь. О, Боже милостивый! Он сошел
с ума

Ф р а н ц (устало приподнимается). Где я?.. Это ты, Даниэль? Что я говорил? Не обращай на это внимания! Я сказал неправду, что бы я ни говорил... Поди, помоги мне встать! Это только приступ головокружения... потому что... потому что я—не выпался...

Д а н и э л ь. Хоть бы Иоганн пришел! Я позову на помощь, я пошлю за доктором.

Ф р а н ц. Останься! Сядь подле меня на этом диване!.. Так... Ты разумный человек, ты добрый человек. Я расскажу тебе.

Д а н и э л ь. Не теперь, в другой раз! Я уложу вас в постель, вам нужен покой.

Ф р а н ц. Нет, прошу тебя, дай мне рассказать и хорошенько посмейся надо мной! Видишь, мне грезилось, что я по-царски пировал, у меня сердце радовалось, и я лежал опьяненный на траве в саду замка, и вдруг—это было в полдень,—но, говорю тебе, смейся же надо мной!

Д а н и э л ь. Вдруг?

Ф р а н ц. Вдруг оглушительный удар грома поразил мой дремлющий слух, я вскочил, дрожа, и вот мне показалось, будто весь горизонт вспыхнул ярким пламенем, и горы, и города, и леса растаяли, как воск на печи, и страшный ураган с воем смел море, землю и небо... Тогда раздались как из медных труб: земля, отдай своих мертвецов! Отдай своих мертвецов, море! И обнаженное поле начало разверзаться и выбрасывать черепа, ребра, челюсти, ноги, которые соединялись в человеческие тела и стремились необозримым потоком, как живая буря. Тогда я взглянул вверх и увидел, что я стою у подножия громающего Синая, и надо мной и подо мной бесконечное множество народа, а там, на вершине

горы, на дымящихся престолах, три мужа, от взора которых бежало все живое...

Д а н и э л ь. Да ведь это живое изображение Страшного Суда.

Ф р а н ц. Неправда ли, ведь это нелепый бред?.. И выступил вперед один, подобный звездной ночи, у него в руке было железное кольцо с печатью, он держал его между востоком и западом и говорил: вечно, священно, справедливо, непреложно! Есть только одна истина, есть только одна добродетель! Горе, горе, горе сомневающемуся червю! И выступил другой. У него в руке было сверкающее зеркало, которое он держал между востоком и западом и говорил: это зеркало есть истина; лицемерие и притворство исчезают перед ним. Тогда ужаснулся я и весь народ, потому что мы увидели головы змей, тигров и леопардов, отразившиеся в ужасном зеркале. И выступил третий. Он держал в руке медные весы, которые он держал между востоком и западом и говорил: подойдите сюда, дети Адама, я взвешиваю ваши помыслы чашею моего гнева и ваши деяния гирями моего мщения!

Д а н и э л ь. Боже, умиლოსердись надо мною!

Ф р а н ц. Бледные, как снег, стояли все, и у всех боязливо билось сердце в ожидании. Тут мне показалось, будто мое имя раздалось первым среди раскатов грома в горах, и кровь застыла в моих жилах, и мои зубы стали громко стучать. Быстро зазвенела чашка весов, загремели скалы, и часы потянулись один за другим мимо левой чаши весов, и каждый из них бросал туда с м е р т н ы й г р е х...

Д а н и э л ь. О, да простит вам Бог!

Ф р а н ц. Он этого не сделал! Чаша выросла в великую гору; но другая, полная крови искупле-

ния, все еще удерживала ее высоко в воздухе... наконец, подошел старик, согнувшийся от тяжкого горя, с искусанными от жестокого голода руками; глаза всех пугливо отворачивались от него, я знал этого человека; он отрезал прядь своих седых волос и бросил ее в чашу с грехами, и вот она опустилась, опустилась сразу в пропасть, а чаша искупления взлетела высоко вверх! И я услышал голос, взывавший из дымящейся скалы: милосердие, милосердие каждому грешнику земли и бездны! Ты один отвержен! (Глубокое молчание). Ну, что же ты не смеешься?

Д а н и э л ь. Могу ли я смеяться, когда меня мороз подирает по коже? Сны посылает Бог.

Ф р а н ц. Вздор, вздор! Не говори этого! Назови меня дураком, сумасбродным, пошлым дураком. Сделай это, милый Даниэль, прошу тебя, посмейся надо мной хорошенько!

Д а н и э л ь. Сны посылает Бог. Я буду молиться за вас.

Ф р а н ц. Ты лжешь, говорю я... Ступай сию минуту, беги, беги скорее, посмотри, где пастор, вели ему поторопиться; но я тебе говорю, ты лжешь.

Д а н и э л ь (уходя). Помилуй вас Бог!

Ф р а н ц. Мудрость черни, трусость черни! Ведь еще неизвестно, совсем ли исчезло прошедшее, или там, над звездами, есть око... Гм, гм! Кто шепнул мне это? Разве там, вверху, над звездами, есть Мститель? Нет, нет! Да, да! Вокруг меня слышен страшный шопот: там, вверху, над звездами, есть Судия! И идти к небесному Мстителю уже сегодня ночью! Нет, говорю я... Жалкая лавайка, в которой хочет спрятаться твоя трусость... Пустынню, одиноко, безмолвно там,

вверху, над звездами... А если там все-таки что-нибудь есть?.. Нет, нет, там ничего нет! Я приказываю, чтобы там ничего не было! А если все-таки есть? Горе тебе, если все сочтется! Если все тебе сочтется еще в эту ночь!.. Почему ужас проникает меня до мозга костей? Умереть! Почему это слово меня так поражает? Отдать отчет Мстителю там, вверху, над звездами... И если Он справедлив... Сироты и вдовы, угнетенные, измученные, взывают к Нему, и если Он справедлив — почему они страдали, почему ты торжествовал над ними?..

(Пастор Мозер входит).

М о з е р. Вы присылали за мной, господин? Я изумляюсь. Первый раз в моей жизни! Вы намерены насмеяться над религией или вы начинаете перед ней трепетать?

Ф р а н ц. Смеяться или трепетать, это зависит от того, как ты мне ответишь. Слушай, Мозер, я хочу тебе показать, что ты дурак, или хочешь оставить в дураках весь мир, и ты должен мне отвечать! Слышишь? Ценою жизни ты должен мне отвечать.

М о з е р. Вы требуете к своему суду Того, Кто выше меня. Всевышний вам в свое время ответит.

Ф р а н ц. Теперь хочу я это знать, теперь, сию минуту, чтобы мне не совершить позорной глупости и не призывать в минуту крайности идола черни. Часто я с насмешкой говорил тебе за стаканом бургундского: нет Бога! Теперь я говорю с тобой серьезно и повторяю: Бога нет! Ты можешь опровергать меня всеми доводами, какие только есть в твоём распоряжении, но я уничтожу их одним дыханием своих уст.

М о з е р. Если бы ты так же легко мог слунуть громы, которые стопудовою тяжестью обрушатся на твою гордую душу! Всеведущий Бог, Которого ты, безумец и злодей, отрицаешь среди его творения, не нуждается в оправдании из уст праха. Он так же велик в твоих тиранствах, как и в улыбке победоносной добродетели.

Ф р а н ц. Необыкновенно хорошо, поп! Таким ты мне нравишься.

М о з е р. Я стою здесь по приказанию Высшего Владыки и говорю с существом, которое такой же червь, как и я, и которому я не хочу нравиться. Конечно, я должен был бы быть в состоянии творить чудеса, еслиб я хотел вынудить признание у твоей упорной злобности. Но если твое убеждение так твердо, зачем велел ты меня позвать? Скажи же мне, зачем ты велел меня позвать среди ночи?

Ф р а н ц. Потому что мне скучно, потому что мне надоела шахматная доска. Я хочу доставить себе развлечение погрызться с попом. Пустыми страхами ты не лишишь меня мужества. Я прекрасно знаю, что на вечность надеется тот, кому здесь плохо пришлось; но он будет жестоко обманут. Я много раз читал, что наша жизнь зависит от кровообращения, с последней каплей крови исчезает и дух и мысль. Они разделяют все слабости тела: почему же им не прекратиться при его тлении? Пусть капля воды случайно попадет в твой мозг, и в твоей жизни внезапно наступает остановка, которая граничит почти с небытием, а ее продолжение есть смерть. Ощущение есть сотрясение нескольких струн, а разбитый клавиесин не звучит больше. Если я ве-
лю сломать мои семь замков, если я разобью

эту Венеру, то их симметрия *) и красота перестанут существовать. Вот так и ваша бессмертная душа!

М о з е р. Это философия вашего отчаяния. Но ваше собственное сердце, которое при этих доказательствах так боязливо бьется у вас в груди, изобличает вас во лжи. Эта паутина систем рвется при одном единственном слове: ты должен умереть! Я предлагаю вам такое испытание: если и в смерти вы так же твердо будете стоять на своем, если ваши убеждения не изменят вам и тогда—вы правы; если же, умирая, вы почувствуете хоть малейший страх, тогда горе вам! Вы обманулись.

Ф р а н ц (смущенно). Если я, умирая, почувствую страх?

М о з е р. Я видал много таких несчастных, которые при жизни с необыкновенным упорством противились истине; но перед смертью заблуждение исчезает. Я буду стоять у вашей постели, когда вы будете умирать—я очень хотел бы видеть, как умирает тиран—я буду стоять и пристально смотреть на вас, когда врач возьмет вашу холодную влажную руку, с трудом найдет ваш едва слышный пульс, взглянет на вас и скажет с этим ужасным пожатием плеч: человеческая помощь бессильна! Берегитесь тогда, о, берегитесь же, чтобы не выглядеть так, как Ричард или Нерон!

Ф р а н ц. Нет, нет!

М о з е р. И это «нет» обратится тогда в вопиющее «да»... Внутренний суд, который вы ни-

*) Симметрия — одинаковость в расположении частей целого.

когда не сможете подкупить скептическими *) рассуждениями, проснется тогда и будет вас судить. Но это будет пробуждение заживо погребенного в недрах могилы; это будет отчаяние самоубийцы, когда он уже нанес себе смертельный удар и раскаивается в нем; это будет молния, которая сразу ярко осветит глубокий мрак вашей жизни; эту будет один взгляд, и если вы и тогда будете твердо стоять на своем, то вы, значит, правы!

Франц (беспокойно ходит взад и вперед по комнате). Поповская болтовня, поповская болтовня!

Мозер. Тогда в первый раз мечи вечности пройдут через вашу душу, и тогда будет уже слишком поздно. Мысль о Боге разбудит ужасного соседа, имя которого — Судия. Видите, Моор, от мановения вашей руки зависят тысячи людей, и девяносто девять из тысячи вы сделали несчастными. Вам недостает только римской империи, чтобы быть Нероном, недостает только Перу, чтобы быть Пизарро **), Неужели вы думаете, что Господь согласится, чтобы один единственный человек хозяйничал в его мире, как тиран, и перевернул бы все вверх дном? Неужели вы думаете, что эти девяносто девять существуют только для гибели, только для того, чтобы быть марионетками *** в вашей сатанинской игре? О, не думайте этого! Каждая минута, которую вы у них убили, каждая радость, которую вы им отравили, каждое совершенствование, доступ к которо-

*) Скептический — недоверчивый, сомневающийся.

**) Пизарро — завоеватель Перу (XVI в.).

***) Марионетки — куклы, которые приводятся в движение при помощи ниток.

му вы им преградили, спросится с вас когда-нибудь, и если вы на это ответите, Моор, тогда, значит, вы правы.

Франц. Довольно, ни слова более! Ты хочешь, чтобы я подчинялся твоим меланхолическим *) фантазиям?

Мозер. Посмотрите, судьба людей стрит в ужасном и в то же время прекрасном равновесии. Если чаша весов опускается в этой жизни, она высоко поднимается в той, если она поднимается в этой, она низко опустится в той. Но то, что было здесь временным страданием, будет там вечным торжеством; то, что было преходящим торжеством здесь, станет там вечным, бесконечным отчаянием.

Франц (с яростью бросаясь к нему). Чтобы гром замкнул твои уста, дух лжи! Я вырву твой проклятый язык изо рта!

Мозер. Разве вы уже чувствуете все бремя истины? Я ведь ничего еще не говорил о доказательствах. Дайте мне только перейти к доказательствам...

Франц. Молчи, убирайся к черту с твоими доказательствами! Уничтожится душа, говорю тебе, и на это ты не должен мне возражать.

Мозер. Об этом вопиют и духи бездны, но Господь в небесах качает головой. В пустом пространстве небытия вы думаете ускользнуть от руки Мстителя? Но если вы войдете на небо — Он там! И если сойдете в ад — Он опять там! И если скажете ночи: «укрой меня!» и мраку: «спрячь меня!» мрак вспыхнет светом вокруг вас, и полночь озарится сиянием дня вокруг осу-

*) Меланхолический — грустный.

жданного... но ваш бессмертный дух возмущается понятием небытия и побеждает слепую мысль.

Франц. Но я не хочу быть бессмертным... Пусть им будет, кто хочет, я не препятствую. Я заставляю Его меня уничтожить, я вызову Его ярость, чтобы в ярости своей Он уничтожил меня. Скажи мне, какой величайший грех, который всего сильнее возмутил бы Его?

Мозер. Я знаю только два. Но они совершаются не людьми, люди не знают их.

Франц. Какие же это грехи?

Мозер (очень внушительно). Отцеубийством называется один, другой—братоубийством... Отчего вы вдруг так побледнели?

Франц. Что, старик? С кем ты в заговоре, с небом, или с адом? Кто тебе это сказал?

Мозер. Горе тому, у кого они оба на душе! Лучше было бы ему не родиться! Но будьте спокойны, у вас нет более ни отца, ни брата!

Франц. А!.. Ты не знаешь греха больше этого? Подумай хорошенько... Смерть, небо, вечность, проклятие не сходят у тебя с языка.. Так нет высшего греха?

Мозер. Нет высшего греха.

Франц (падает на стул). Уничтожения! Уничтожения!

Мозер. Радуйтесь, радуйтесь! Считайте себя счастливым. При всех ваших преступлениях вы еще святой в сравнении с отцеубийцей. Проклятие, которое постигнет вас, это песнь любви в сравнении с тем, что ожидает его... возмездие...

Франц (вскрикивает). Провались ты сквозь землю, сын! Кто звал тебя сюда? Уходи, говорят тебе, или я изобью тебя!

Мозер. Неужели поповская болтовня может вывести из себя такого философа? Уничтожьте ее дуновением ваших уст! (Уходит).

Франц (мечется в кресле в сильнейшем волнении. Глубокое молчание).

(Слуга поспешно входит).

Слуга. Амалля бежала. Граф внезапно исчез.

(Даниэль входит испуганный).

Даниэль. Господин, отряд всадников мчится сюда по спуску горы; кричат: «смерть! смерть!..» Вся деревня в смятении.

Франц. Ступай, вели звонить во все колокола, пусть все идут в церковь... пусть все на коленях молятся за меня... всех заключенных освободить и выпустить, бедным я возвращу все вдвое и втрое, я хочу... Иди же... Позови же духовника, чтобы он разрешил меня от грехов... Ты все еще не ушел?

(Слышен шум).

Даниэль. Да простит мне Бог мое великое прегрешение! Как мне это понять? Ведь вы всегда изгоняли молитву, сколько раз вы швыряли мне в голову книгу проповедей или библию, если заставляли меня на молитве...

Франц. Ни слова больше об этом... Умираю! Видишь ты? Умираю!.. Слишком поздно. (Слышен громкий голос Швейцера). Молись же! Молись!

Даниэль. Я всегда вам говорил... Вы так пренебрегали молитвой... Но берегитесь, берегитесь! Когда придет беда, когда вы будете на краю гибели, вы отдадите все сокровища мира за один

христианский вздох... Видите? Вы глумились надо мной! Вот вам теперь! Видите?

Франц (порывисто обнимает его). Прости, милый, дорогой Даниэль, прости меня... Я одену тебя с головы до ног... молись же... я наряжу тебя, как на свадьбу... я дам... да молись же... заклинаю тебя... заклинаю тебя на коленях... Да молись же, во имя дьявола!

(Шум на улице; крик и шопот).

Швейцер (на улице). На приступ! Бейте на смерть! Вломайте дверь! Я вижу огонь, он должен быть там!

Франц (на коленях). Услышь мою молитву, Господь на небесах! Это в первый раз—и, конечно, никогда больше не случится... Услышь меня, Царь Небесный!

Даниэль. Господи! Что вы делаете? Ведь это кощунство, а не молитва.

(Сбегаются народ).

Народ. Воры! Убийцы! Кто это так ужасно шумит в ночное время?

Швейцер (все еще на улице). Прогони их, товарищ... Это дьявол пришел за вашим господином... Где Шварц с своими людьми? Окружи дом, Гримм... Штурмуй стены!

Гримм. Давайте факелы... мы наверх, или он вниз... Я хочу поджечь его палаты.

Франц (молится). Я не был простым убийцей, Господи... я никогда не занимался пустяками, Боже мой...

Даниэль. Господи, смилуйся над нами! И молитвы его—один только грех. (Летят камни и пучки горящей соломы. Окна разбиваются. Замок горит).

Франц. Я не могу молиться... здесь, здесь (ударяет себя в грудь и по лбу) все так пусто, все так иссякло!.. (Встает). Нет, я и не хочу молиться, этой победы небо не должно одержать, ад не будет надо мной смеяться...

Даниэль. Господи Иисусе!.. Помогите... Спасите... весь замок в огне!

Франц. Вот, возьми эту шпагу. Скорее! всади мне ее с тылу в живот, чтобы эти негодяи не пришли сюда издеваться надо мной!

(Огонь разгорается).

Даниэль. Сохрани Бог! сохрани Бог! Я никого не желаю отправить прежде времени даже и на небо, а не только... (Убегает).

Франц (с ужасом смотрит ему вслед, после некоторого молчания). В ад, хотел ты сказать... Действительно! я уже предчувствую нечто подобное. (Охваченный внезапным безумием). Не их ли это громкие крики? Не ваше ли это шипение я слышу, ехидны преисподней? Они взбираются наверх, они осаждают дверь... почему содрогаюсь я перед острием этой шпаги?.. Дверь трещит... падает... некуда бежать... А! Так сжался хоть ты надо мной! (Срывает золотой шнурок со шляпы и удавливается).

(Швейцер с своими людьми).

Швейцер. Мерзавец, где ты? Видели вы, как они убегали?.. Неужели у него так мало друзей?.. Куда эта бестия забилась?

Гримм (натывается на труп). Стой! Что это лежит здесь на дороге? Посветите сюда...

Шварц. Он предупредил нас. Уберите ваши мечи, вот он лежит, как дохлая кошка.

Швейцер. Умер? Как? Умер?... Умер без меня? Это ложь—смотрите, как проворно он вскочит на ноги? (Трясет его). Эй, ты! надо убить отца!

Гримм. Не трудись. Он, действительно, мертв.

Швейцер (отходит от него). Да! Он не радуется... он действительно мертв... Ступай назад и скажи моему атаману: «Он умер»—меня он больше не увидит. (Застреливается) ³¹.

Сцена II.

Место действия то же самое, что и в последней сцене предыдущего акта.

Старик Моор сидит на камине. Разбойник Моор против него. Разбойники рассеяны в лесу.

Разбойник Моор. Он не возвращается! (Ударяет книжалом о камень, так что искры летят).

Старик Моор. Прощение пусть будет ему наказанием... моим мщением — удвоенная любовь...

Разб. Моор. Нет, клянусь моей озлобленной душой! Этого не будет! Я этого не хочу. Это позорное преступление он должен влечь за собою в вечность!.. Зачем же я его убил?

Ст. Моор (разражаясь слезами). О, мое дитя!

Разб. Моор. Что? Ты оплакиваешь его... у этой бабки?

Ст. Моор. Сжальтесь! о, сжальтесь! (В отчаянии ломая руки). Теперь, теперь судят мое дитя!

Разб. Моор. (испуганно). Которое?

Ст. Моор. Что за вопрос?

Разб. Моор. Ничего! ничего!

Ст. Моор. Ты пришел издеваться над моим горем?

Разб. Моор. Предательская совесть!.. Не обращайтесь внимания на мои слова!

Ст. Моор. Да, я мучил сына, и сын должен был мучить меня, это перст Божий. О, мой Карл, мой Карл! Если ты паришь надо мной в одежде мира, прости меня, о, прости меня!

Разб. Моор (быстро). Он прощает вас. (Смущенно). Если он достоин называться нашим сыном, он должен вас простить.

Ст. Моор. А! он был слишком хорош для меня... Но я пойду к нему навстречу с моими слезами, моими бессонными ночами, моими мучительными снами, я обниму его колени... воскликну... громко воскликну: я согрешил перед небом и перед тобою. Я недостойн, чтобы ты называл меня отцом.

Разб. Моор (сильно тронутый). Вы любили его, вашего другого сына?

Ст. Моор. Ты знаешь это, о небо! Зачем дал я обмануть себя происками злого сына? Я был счастливым отцом среди других отцов; подле меня расцветали мои дети, прекрасные, полные надежд. Но—о, несчастный час!—злой дух вошел в сердце моего второго сына; я доверился змее—и потерял обоих детей. (Закрывает лицо).

Разб. Моор (отходит далеко от него). Потерял навеки!

Ст. Моор. О, я глубоко чувствую то, что мне говорила Амалия: дух мщения говорил ее устами. Умирая, ты напрасно будешь искать

теплой руки твоего Карла, который никогда более не будет стоять у твоей постели...

Разб. Моор (отвернувшись, протягивает ему руку).

Ст. Моор. О, если бы это была рука моего Карла! Но он лежит далеко, в тесном гробе, спит непробудным сном, и никогда не услышит гласа моей скорби... Увы! умереть на руках чужого человека, не иметь более сына... не иметь сына, который закрыл бы мне глаза...

Разб. Моор (в сильном волнении). Это должно быть теперь... теперь... Оставьте меня! (к разбойникам). Однако... разве я могу вернуть ему сына? Я все-таки не могу больше вернуть ему сына!.. Нет! я этого не сделаю.

Ст. Моор. Что, друг? Что ты там шепчешь?

Разб. Моор. Твой сын... да, старик (запнясь), твой сын... погиб навеки.

Ст. Моор. Навеки?

Разб. Моор (в страшной тоске смотрит на небо). О, только этот раз... не дай ослабеть моей душе... только этот раз поддержи меня!

Ст. Моор. Навеки, говоришь ты?

Разб. Моор. Не спрашивай больше! Я сказал—навек.

Ст. Моор. Незнакомец! Незнакомец! Зачем вывел ты меня из башни?

Разб. Моор. А что, если бы я теперь похитил его благословение—похитил, как вор,—и скрылся бы с божественной добычей? Благословение отца, говорят, никогда не теряет силы.

Ст. Моор. И мой Франц погиб?

Разб. Моор (падает перед ним на колени). Я сломал замки твоей башни—благослови меня!

Ст. Моор (с глубокой горестью). Зачем ты убил сына, спаситель отца!.. Смотри, милосердие Божества никогда не утомляется, а мы, жалкие черви, уходим на покой гнэве нашем. (Кладет руку на голову разбойника). Будь счастлив настолько, насколько ты будешь милосерд.

Разб. Моор (встает смягченный). О, где моя твердость? Мои мускулы ослабели, кинжал падает у меня из рук.

Ст. Моор. Как сладко видеть, когда братья живут дружно, как роса, которая с Гермона сходит на горы Сиона⁸²... Сумей заслужить эту радость, молодой человек, и ангелы небесные будут радоваться славе твоей. Пусть мудрость твоя будет мудростью старца, а сердце твое... сердце твое пусть будет сердцем невинного дитяти.

Разб. Моор. О, дай мне предакушение этого блаженства. Поцелуй меня, дивный старец!

Ст. Моор (целует его). Думай, что это поцелуй отца, а я буду думать, что целую сына... Ты можешь плакать?

Разб. Моор. Я представлял себе, что это поцелуй отца! Горе мне, если они приведут его теперь!

(Спутники Швейцера входят в глубоком молчании, печально опустив головы и закрывая лица).

Разб. Моор. Боже! (Пугливо отступает и хочет скрыться. Они проходят мимо него. Он на них не смотрит. Глубокое молчание. Они останавливаются).

Гримм (пожиженным голосом). Мой атаман! (Моор не отвечает и отступает дальше).

Шварц. Дорогой атаман! (Моор отступает еще дальше).

Гримм. Мы не виноваты, атаман!

Разб. Моор (не глядя на них). Кто вы?

Гримм. Ты на нас не смотришь? Мы твои верные слуги.

Разб. Моор. Горе вам, если вы были мне верны!

Гримм. Последнее прости от твоего слуги Швейцера — он никогда больше не вернется, твой слуга Швейцер.

Разб. Моор (оживляясь). Так вы не нашли его?

Шварц. Нашли мертвым.

Разб. Моор (радостно вскакивая). Благодарю Тебя, Вседержитель! Обнимите меня, дети мои! Отныне нашим лозунгом будет милосердие... Если и это миновало — все миновало.

Новые разбойники. Амалия.

Разбойники. Ура! ура! Добыча, великодушная добыча!

Амалия (с развевающимися волосами). Они кричат, что мертвые восстали на его голос... что мой дядя жив... в этом лесу... Где он? Карл! Дядя! А! (Бросается к старику).

Ст. Моор. Амалия! дочь моя! Амалия! (Сжимает ее в объятиях).

Разб. Моор (отскакивает). Кто вызвал это видение перед моими глазами?

Амалия (вырываясь у старика Моора, бросается к разбойнику и в восторге обнимает его). Он со мной, звезды небесные! Он со мной!

Разб. Моор (вырываясь, разбойникам). Селайте, вы! Сам сатана меня предал!

Амалия. Жених жених, ты обезумел! А! это от счастья! Зачем я так бесчувствена, так холодна в этом вихре блаженства?

Ст. Моор (поднимаясь). Жених? Дочь!.. Дочь!.. Твой жених?

Амалия. Вечно его! Вечно, вечно, вечно мой! О, вы, силы небесные! Освободите меня от этой убийственной радости, чтобы мне не погибнуть под ее бременем!

Разб. Моор. Оторвите ее от меня! Убейте ее! Убейте его! меня! себя! все! Пусть погибнет весь мир! (Хочет бежать).

Амалия. Куда? Что? Любость! вечность! блаженство! бесконечность! и ты бежишь?

Разб. Моор. Прочь! прочь! Несчастнейшая из невест! Посмотри сама, спроси, выслушай! Несчастнейший из отцов! Пусти меня, я бегу отсюда навсегда!

Амалия. Поддержите меня! Ради Бога, поддержите меня! У меня темнеет в глазах... Он бежит!

Разб. Моор. Слишком поздно! Напрасно! Твое проклятие, отец... не спрашивай меня больше ни о чем!.. я... я... твоё проклятие, твоё мнимое проклятие! Кто заманил меня сюда? (Наступая на разбойников с обнаженной шпагой). Кто из вас заманил меня сюда, порождение ада? Погибай же, Амалия! Умри, отец! умри от моих рук в третий раз! Эти твои спасители — разбойники и убийцы! Твой Карл — их атаман!

(Старый Моор умирает).

Амалия (стоит молча и неподвижно, как статуя. Вся шайка в ужасе молчит).

Разб. Моор (ударяясь головой об дуб). Души тех, кого я задушил среди опьянения

любви... тех, кого я погубил во сне... тех... ха-ха-ха! Слышите, как взрывается пороховой погреб под постелями рожениц? Видите, как пламя вспыхивает у колыбели грудных детей? Это брачные факелы, это свадебная музыка... О, он не забывает, он умеет сопоставлять... Поэтому не для меня блаженство любви! Любовь — пытка для меня! Это возмездие!

Амалия. Это правда! Царь Небесный! Это правда! Что я сделала, я, невинное создание? Я любила его.

Разб. Моор. Это больше, чем может вынести человек. Я видел надвигавшуюся на меня со всех сторон смерть и не уступал ей ни шагу; неужели я начну теперь дрожать, как женщина? Дрожать перед женщиной? Нет, женщина не поколеблет моего мужества... Крови, крови! Это только мимолетное влияние женщины... Я должен упиться кровью, это пройдет. (Хочет бежать).

Амалия (бросается в его объятия). Убийца! Дьявол! Ангел! я-не могу тебя покинуть!

Разб. Моор (отбрасывает ее). Прочь, коварная змея, ты хочешь издеваться над безумцем, но я бросаю вызов тирану-судьбе... что, ты плачешь? О, вы, лживые, злобные звезды! Она делает вид, будто плачет, как будто хоть одна душа может обо мне плакать! (Амалия бросается ему на шею). А! Что это? Она не пренебрегает мной, не отталкивает меня от себя... разве ты забыла? Знаешь ли ты, кого ты обнимаешь, Амалия?

Амалия. Единственный, неразлучный!

Разб. Моор (радостно, в экстазе счастья). Она любит меня, она любит меня! Я чист, как небесный эфир, она любит меня! Мое слезное благодарение тебе, милосердный Отец Небесный!

(Он падает на колени и разражается слезами). Мир возвратился в мою душу, муки утихли, нет больше ада... Смотри, о, смотри, дети света плачут в объятиях плачущих демонов... (Вставая, к разбойникам). Плачьте же и вы! Плачьте, плачьте, вы ведь так счастливы... О, Амалия, Амалия, Амалия! (Целует ее, они стоят в безмолвном объятии).

Один из разбойников (гневно выступая вперед). Остановись, изменник! Сейчас опусти руки — или я скажу тебе слово, которое, как гром, грянет у тебя в ушах, так, что у тебя зубы застучат от ужаса! (Протягивает между ними меч).

Старый разбойник. Вспомни о богемских лесах! Ты слышишь?.. Ты робеешь? О богемских лесах должен ты вспомнить! Вероломный, где твои клятвы? Неужели раны так скоро забываются? Когда мы за тебя ставили на карту счастье, честь и жизнь, когда мы стояли перед тобой, как стены, и принимали, как щиты, удары, которые должны были лишить тебя жизни, разве не поднимал ты тогда руку со страшною клятвой, разве ты не клялся никогда не покидать нас, как мы не покинули тебя? Бесчестный, клятвопреступник! И ты хочешь отречься от нас, потому что какая-то девчонка ревет?

Третий разбойник. Стыдись нарушать клятву! Дух принесенного в жертву Роллера, которого ты призывал в свидетели из царства мертвых, покраснеет за твою трусость и выйдет вооруженный из могилы, чтобы наказать тебя.

Разбойники (перебивая друг друга и разрывая на себе платья). Смотри сюда, смотри! Ты знаешь эти шрамы? Ты наш! Своей кровью мы закрепили тебя, ты наш, если бы даже архангел Михаил вступил в рукопашную с Молохом! Идем с нами! Жертва за жертву! Амалия за шайку!

Разб. Моор (выпускает ее руку). Все кончено! Я хотел обратиться и идти к моему отцу; но Господь в небесах сказал, что так не должно быть. (Холодно). Слепой глупец, зачем хотел я этого? Разве такой великий грешник может обратиться? Великий грешник никогда больше не может обратиться, я должен был это давно знать... Успокойся, прошу тебя, успокойся! Ведь это и справедливо... Я не хотел, когда он меня искал; теперь, когда я его ищу, он не хочет; что может быть справедливее? Не смотри на меня с таким отчаянием—он ведь во мне не нуждается. Разве мало у него творений? Одного он спокойно может лишиться, и этот один—я... Пойдемте, товарищи!

Амалия (с силою удерживает его). Остановись, остановись! Один удар! Убей меня! Опять покинута! Вынь твой меч и сжался надо мной!

Разб. Моор. В моем сердце нет больше места состраданию. Я не убью тебя.

Амалия (обнимает его колени). О, заклинаю тебя Богом! Из милосердия! Я ведь не прошу больше любви, я знаю, что наши звезды бегут друг от друга, как враги—я прошу только смерти... Покинута, покинута! Пойми это слово во всем его ужасном значении—покинута! Я не могу этого перенести. Ты ведь понимаешь, ни одна женщина не может этого перенести. Я прошу только смерти! Смотри, моя рука дрожит! У

меня не хватает смелости нанести удар. Я боюсь этого блестящего острья... тебе это так легко, так легко, ты ведь мастер убивать, вынь свой меч, и вот я счастлива!

Разб. Моор. Ты одна хочешь быть счастливой? Прочь, я не убиваю женщин!

Амалия. А, убийца! Ты можешь убивать только счастливых, ты проходишь мимо тех, кому надоело жить! (На коленях ползет к разбойникам). Так сжальтесь же вы надо мной, ученики палача! В ваших глазах я читаю кровожадное сострадание, которое служит утешением несчастному... ваш господин тщеславный, трусливый хвастун!

Разб. Моор. Женщина, что ты говоришь? (Разбойники отворачиваются).

Амалия. Ни одного друга? И между этими ни одного друга? (Встает). Ну, так Дидона *) научит меня умереть! (Она хочет уйти, один из разбойников прицеливается).

Разб. Моор. Стой! Посмей только. Возлюбленная Моора должна умереть только от руки Моора. (Убивает ее).

Разбойники. Атаман, атаман! Что ты делаешь? Ты с ума сошел?

Разб. Моор (неподвижно смотрит на труп). Она убита! Еще одно содрогание, и все будет кончено... Ну, смотрите же! Потребуете ли вы еще чего-нибудь? Вы пожертвовали мне жизнью, жизнью, которая вам уже больше не принадлежала, жизнью, полной преступлений и

*) Дидона—царица Карфагена; покинутая Энеем, она заколется (см. „Энеиду“ Вергилия).

позора—я убил для вас ангела.. Посмотрите же сюда хорошенько! Довольны ли вы теперь?

Г р и м м. Ты заплатил свой долг с процентами. Ты сделал то, что ни один человек не сделал бы для своей чести. Пойдем теперь дальше!

Р а з б. М о о р. Ты так говоришь? Не правда ли, жизнь праведницы за жизнь мошенников—это не равный обмен? О, я вам говорю, если бы каждый из вас попал на эшафот и у него по кускам отрывали бы мясо раскаленными щипцами, и если бы эта пытка продолжалась одиннадцать летних дней, она не уравнивала бы этих слез. (С горьким смехом). Шрамы, ботемские леса! Да, да! За это, конечно, нужно было заплатить.

Ш в а р ц. Успокойся, атаман! Пойдем с нами, это зрелище не для тебя. Веди нас дальше!

Р а з б. М о о р. Стой. Еще одно слово прежде, чем мы пойдем дальше... Слушайте вы, злорадные исполнители моих варварских поручений... с этой минуты я перестаю быть вашим атаманом... Со стыдом и ужасом слагаю я здесь этот ковавый жезл, под сенью которого вы считали себя вправе совершать преступления и осквернять небесный свет деяниями тьмы... Идите, куда хотите... Отныне между нами нет ничего общего.

Р а з б о й н и к и. А, трус! Где же твои великие планы? Или это были мыльные пузыри, которые лопнули от дуновения женщины?

Р а з б. М о о р. О, я, глупец, я думал улучшить мир преступлением и поддержать законы беззаконием! Я называл это возмездием и справедливостью... Я дерзнул, о, Провидение, уничтожать ошибки твоего меча и исправлять твое лицепрятие... но... о, тщеславное ребячество... вот я стою на краю ужасной жизни и со

стоном и скрежетом зубным сознаю, что два таких человека, как я, погубили бы весь строй нравственного мира. Милосердие—милосердие мальчику, который хотел нарушить твое право. Тебе одному принадлежит возмездие. Ты не нуждаешься в руке человека. Конечно, теперь не в моей власти вернуть прошедшее... Погибшее останется погибшим... Что я разрушил, не восстановит более никогда... Но у меня осталось еще что-то, чем я могу примирить оскорбленные законы и восстановить нарушенный порядок. Они требуют жертвы, жертвы, которая раскрыла бы их неуязвимое величие перед всем человечеством... Эта жертва—я сам. Я сам должен принять за них смерть.

Р а з б о й н и к и. Возьмите у него шпагу, он хочет убить себя.

Р а з б. М о о р. Глупцы, осужденные на вечную слепоту! Неужели вы думаете, что смертный грех может служить искуплением других смертных грехов? Не думаете ли вы, что мировая гармония выиграет от этого безбожного диссонанса? (Презрительно бросает свое оружие к их ногам). Он должен взять меня живым. Я иду отдаться в руки правосудия.

Р а з б о й н и к и. Свяжите его! Он сошел с ума!

Р а з б. М о о р. Не то, чтобы я сомневался, что оно не найдет меня очень скоро, если этого захотят Высшие Силы. Но оно может захватить меня во сне, или настигнуть в бегстве, или овладеть мной насилем и мечом, и тогда у меня будет отнята и та единственная заслуга, что я умер за него добровольно. И зачем мне, как

вору, скрывать дальше жизнь, которая уже давно отнята у меня в совете небесных стражей?

Разбойники. Пусть уходит! Это мания величия. Он хочет пожертвовать жизнью из пустого тщеславия.

Разб. Моор. За это мне можно было бы удивляться. (После некоторого раздумья). Мне вспоминается, что дорогой я разговаривал с одним бедняком-поденщиком, у которого одиннадцать человек детей в живых... Тысяча луидоров обещана тому, кто доставит знаменитого разбойника живым. Этому человеку можно помочь. (Уходит).

Перевод с немецкого

Е. Ратьковой.

ПРИМЕЧАНИЯ.

К стр. 27.

1) Латинское изречение под заглавием значит: «Где беспомощно лекарство, там помогает железо; где беспомощно железо, там помогает огонь». Взято из «Афоризмов» Гиппократа — греческого врача, жившего в IV веке до Рождества Христова.

К стр. 30.

2) Одно из многочисленных в «Разбойниках» библейских изречений. Библия в немецком переводе Лютера была в Германии долгое время настольной книгой, как образец литературного языка.

К стр. 30.

3) Язык Шиллера изобилует такого рода сложными образными выражениями; костыли — как образ старости и болезни, от которых избавит смерть.

К стр. 33.

4) Французская поговорка: «Любовь сделала это».

К стр. 34.

5) На Лейпцигском рынке выставлялись изображения разыскиваемых правительством преступников.

К стр. 42.

6) Это длинное философское рассуждение Франца поднимает его над толпой обыкновенных трагических злодеев, к чему и стремился Шиллер, говоря в предисловии, что безразличные характеры должны «выигрывать со стороны ума то, что они теряют со стороны сердца».

К стр. 43.

7) Т. е. нытье бессильных, неспособных ни на какой смелый шаг людей. Александрия—древний город в Египте, в котором сосредоточена была деятельность греческих ученых после падения самостоятельной Греции. «Александрийский век»—век учености, век кропотливой разработки оставшегося от бывшей Греции наследия. Отсюда—и смысл выражения «александрийское нытье».

К стр. 45.

8) Смысл этой шутки Карла и ответа Шпигельберга объясняется из дальнейших слов Рацмана о доме из чистой ртути. Поэтому и «обрезание» имеет здесь медицинский смысл: Шпигельберг—не еврей.

К стр. 46.

9) По преданию, стрелки в Швабском городе Горнберге так усердно приветствовали выстрелами своего герцога, что у них не осталось пороха для стрельбы в цель. Отсюда—поговорка.

К стр. 47.

10) Французское восклицание, по смыслу соответствующее русскому «ей-богу».

К стр. 51.

11) Французское восклицание: «кошелек или жизнь!»

К стр. 54.

12) Т. е. на каторге («в галерном раю») будете таскать за собой кандалы («кузнецу Вулкана»).

К стр. 54.

13) Насмешка Шиллера над распространенными тогда маленькими сборниками (Taschenbuch) и альманахами.

К стр. 55.

14) Ртуть—как средство от сифилиса (ср. прим. 8).

К стр. 56.

15) Под птицей Юпитера разумеется орел, а под трехногим зверем—виселица.

К стр. 57.

16) Латинское выражение: «если все согласны, то я не противоречу». Запятая после отрицательной частицы (non—не, нет) придает фразе обратный смысл: «если все согласны, то я нет, я не согласен».

К стр. 71.

17) Латинское выражение, дословно означающее—«бог из машины». В древних трагедиях часто, для развязки, на сцене появлялось божество, что делалось при помощи особого механизма. Вошло в поговорку.

К стр. 75.

18) Историческая битва (1757 г.), в которой пал прусский фельдмаршал Шверин. См. ниже рассказ Германа.

К стр. 78.

19) «Прощание Гектора с Андромахой» — обработка одного места из «Илиады» Гомера. Перевод Ф. И. Тютчева (см. «Труды Общ-ва Любит. Росс. Слов.» 1822 г., ч. II, стр. 204, и харьковский журнал «Ипокрена» 1917 г., № 1, стр. 3).

К стр. 88.

20) Намек на библейские слова Иакова: «Ибо и с жезлом моим перешел через Иордан, а теперь у меня два опоячания».

К стр. 89.

21) Латинское выражение: «День потерян».

К стр. 91.

22) Граубинден — швейцарский кантон. Шпигельберг называет его «Афинами для мошенников» в том смысле, что там процветало воровское ремесло, как наука и искусство процветали когда то в древне-греческом городе.

К стр. 97.

23) Латинское выражение: «Помни о смерти!»

К стр. 115.

24) Перевод В. А. Жуковского.

К стр. 117.

25) Имя мечтательного любовника в пастушеском романе д'Юрфэ «Астрейя» (XVII в.), ставшее нарицательным.

К стр. 125.

26) Т. е. Мария, который, по словам Плутарха, ответил посланному от наместника с приказом удалиться из римских владений: «Скажи своему господину, что ты видел Кая Мария сидящим на развалинах Карфагена». Карфаген — столица древнего государства на севере Африки, долго враждовавшего с Римом.

К стр. 126.

27) Знаменитый французский полководец XVIII в., граф Мориц Саксонский. «Прогнать по ту сторону Ганга» (река в Индии), т. е. очень далеко.

К стр. 132.

28) Ср. слова Франца в 1-й сцене 1-го акта: «он охотнее читал приключения Юлия Цезаря, Александра Великого» и т. д.

К стр. 162.

29) Вороны приносили пищу пророку Илиин, когда он был в пустыне.

К стр. 165.

30) Т. е. очевиден обман Франца.

К стр. 186.

31) Швейцар не смеет явиться к Карлу без живого Франца («достань мне его живым!») и потому убивает себя.

К стр. 189.

32) Слова из псалма Давида.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Предисловие Б. М. Эйхенбаума . .	5—17
Предисловие автора	19—25
„Разбойники“, действия I—V	27—198
Примечания.	199—203

Перев. Е. Ратьковой.



Издательство „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“.

ВЫШЛИ В СВЕТ И ПРОДАЮТСЯ.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| <i>Г. де-Мопассан</i> | — Милый друг. |
| | — Сильна как смерть. |
| <i>А. Франс</i> | — Остров Пингвинов. |
| <i>Лили Браун</i> | — Письма маркизы. |
| <i>Гонкур</i> | — Братья Земганно. |

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА:

- | | |
|-----|---|
| №№ | |
| 1. | <i>О. Мирбо</i> — Деревенские рассказы. |
| 2. | <i>Мюльтаули</i> — Рассказы. |
| 3. | <i>Марк Твен</i> — Приключения Тома. |
| 4. | <i>Г. д'Аннунцио</i> — Пескарские рассказы. |
| 5. | <i>А. Шамиссо</i> — Истер Шлемиль. |
| 6. | <i>А. Франс</i> — Дело уличного торговца. |
| 7. | <i>Г. ав Гейерстам</i> — Любовь и др. рассказы. |
| 8. | <i>Робин Гуд</i> — Баллады. |
| 9. | <i>Г. Деледа</i> — Сардинские рассказы. |
| 10. | <i>О. Уайльд</i> — Сказки. |
| 11. | — Гранатовый дом. |
| 12. | — Рассказы. |
| 13. | <i>Д. Лондон</i> — Сын-волка. |
| 14. | <i>Г. Уэллс</i> — Спящий пробуждается. |
| 15. | <i>Вальтер Скотт</i> — Черный карлик. |
| 16. | <i>Вольтер</i> — Кандид. |
| 17. | — Повести. |
| 18. | <i>Беранже</i> — Песни. |
| 19. | <i>С. Т. Кольридж</i> — Поэма о старом моряке. |
| 20. | <i>Г. Р. Хапард</i> — Копи царя Соломона. |

Издательство „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“.

- | | | |
|-----|-------------------|--------------------------|
| 21. | <i>Шиллер</i> | — Разбойники. |
| 22. | <i>Д. Лондон</i> | — Закон белого человека. |
| 23. | <i>Вольтер</i> | — Белый бык. |
| 24. | <i>Б. Ибаньес</i> | — Валенсианские расск. |
| 25. | <i>И. Иенсен</i> | — Гиммерландские расск. |
| 26. | <i>А. Франс</i> | — Чудо св. Николая. |

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| <i>А. Лесаж</i> | — Хромой бес. Тюркаре. |
| | — Жиль Блаз. |
| <i>Б. Ибаньес</i> | — Власть мертвых. |
| | — Проклятый хутор. |
| <i>А. Франс</i> | — Восстание ангелов. |
| <i>Г. Флобер</i> | — Саламбо. |
| | — Воспитание чувства. |
| <i>Ч. Диккенс</i> | — Повесть о двух городах. |
| " | — Наш общий друг. |
| " | — Большие ожидания. |
| " | — Жизнь и приключения |
| | Николая Никкльби. |
| " | — Жизнь и приключения |
| | Мартина Чеззльвита. |
| " | — Домби и Сын. |
| <i>Вальтер Скотт</i> | — Уэверли. |
| | — Роб Рой. |

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА:

- | | |
|--------------|--------------------------------|
| Г. Уэллс | — Машина времени. |
| " | — Невидимка. |
| " | — Борьба миров. |
| Вольтер | — Задиг. |
| " | — Принцесса Вавилон-
ская. |
| Марк Твен | — Принц и нищий |
| А. Франс | — Сказка о сорочке. |
| М. Сьерра | — Благословенная весна. |
| Л. Нордстрем | — Обыватели. |
| Дж. М. Бэрри | — Белая птичка. |
| Ю. Юнгсон | — Африканские рассказы. |
| О. Гольдсмит | — Векфильдский свя-
щенник. |
| Г. Федерер | — Прометей и др. рассказ. |
| Г. Бани | — Четыре дьявола. |

